



Литературно Художественный Кружок
в Сан-Франциско и в Берклее
1922-1970

Обложка работы
художника
Обложка работы
художника
АНДРЕЯ ХУДЯКОВА
АНДРЕЯ ХУДЯКОВА

46345

РУССКАЯ ЖЕНЩИНА В ЭМИГРАЦИИ

Вашингтон.

1970

Вашингтон.

1970

Все права сохранены за автором.

All Rights Reserved

Литературно-Художественный Кружок в Калифорнии.

1923—1970.

Mrs E. Malozemoff
Lake Road
Valley Cottage, N. Y. 10989
Box 277-B
U.S.A.

Cashier: Mrs K. Eremina
2140 Ward Str.
Berkeley, California
U.S.A.

Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München 50, Peter-Müller-Str. 43.

Printed in Germany

ПРЕДИСЛОВИЕ

Литературно-художественный кружок в Сан Франциско сердечно благодарит всех участников в создании этой книги. На наш газетный призыв откликнулись более ста женщин. Они прислали в редакцию две тысячи пятьсот страниц литературных произведений: рукописей, напечатанных уже книжек, статей, вырезанных из различных газет. Как «умудрились» русские женщины в изгнании опубликовать свои стихи и прозу в таком большом количестве? Замечательная сила воли!!

На нашу долю пришлось посланные тысячи РАЗ-бирать и ВЫ-бирать лучшее среди хорошего. Мы благодарны всей душой за прекрасную литературную помощь Александры Львовны Толстой. Мы глубоко ценим организационный талант Татьяны Алексеевны Шауфус. Они обе дружно создали старческие дома во многих городах на земном шаре. Через два-три месяца осуществится мечта их жизни: откроется учреждение для 96 хронических больных на Толстовской ферме.

Благодушно отнеслись к нашей книге все три редактора русских газет, помещая в хронике заметки о главных событиях нашей книги: зачатия, развития и готовности к печати. Редактору «Русской Жизни» А. И. Делянич и соредактору И. Н. Обухович, редактору «Русской Мысли», З. А. Шаховской благодарность за помощь. Благодарно отнесся к книге редактор «Нового Русского Слова», М. Е. Вейнбаум. Ему низжайший поклон, «в особицу».

КНИЖКАТА БИЛЪТИНА

АЛЕКСАНДРА ЛЬВОВНА ТОЛСТАЯ

ПРОЗА

«Вышли из земли Тисей
И из родины Тисей
И из долины Тисей
И в долине Тисей,
И в долине Тисей,
И в долине Тисей»

(Древняя Ассирия)

В молодой стране Америки, основанной на новых принципах — на демократии, чуждом навету старой феодальной и империалистической, в темноте гниющей гибели Русской Империи и несчастными бедствиями смерти развращения, эпохи зноя ина замечательная русская женщина, дочь великого писателя, графиня Александра Львовна Толстая.

На в 1817 году, на в блудном за ним годы русского лихолетья, не все были способны оторваться от родины. Миссия не оставила надежды на какой-то благополучный исход разразившейся катастрофы. Русское религиозное сознание не позволяло верить в возможность полного злорадия разума и власти своего народа.

Не сразу поверила этому и Александра Львовна, оставаясь в Ясной Поляне, где продала ее жизнь с великим, глубоко личным, во всем ее внутреннем «блуде».

При советской власти, Александра Львовна старалась сохранить дом, жизнь и заветы отца. Надежда и на долгие времена к его жизни со стороны новых людей. Но все больше становилось с преступностью власти и жизни, и тогда на себе мучительные превращения, в конце концов проставились со всем ей дороги и привали из себя тяжелейший крест изгнанными.

Многие журналисты, поэты и писатели (Ирина Одоевцева, Галина Кузнецова, Н. Кодрянская, Анна Берберова, С. А. Оболянинская и другие) не могли отозваться на нашу листовку из-за отсутствия правильных адресов.

«Бить сила благодарная и прозвучит слов живых», написала когда-то Лермонтов. Благодарим силу (терпение, настой и участие) создания этой книги.

Благодарим ВСЕХ... ВСЕХ...

Редакция.

ПРИБАВЛЕНИЕ

КЛЕОПАТРА БОЛОТИНА

АЛЕКСАНДРА ЛЬВОВНА ТОЛСТАЯ

«Выйди из земли Твоей
И из родства Твоего
И из дома отца Твоего
И пойди по земле,
Которую покажу Тебе».

(Деяния Апостолов).

В молодой стране, Америке, осуществляющей высшие принципы — человеколюбия, идущей навстречу всякой благородной инициативе, в темноте трагической гибели Русской Империи и неисчислимых бедствий жертв революции, ярко засияло имя замечательной русской женщины, дочери великого писателя, графини Александры Львовны Толстой.

Ни в 1917 году, ни в следующие за ним годы русского лихолетия, не все были склонны оторваться от родины. Многих не оставляла надежда на какой-то благополучный исход разразившейся катастрофы. Русское религиозное сознание не позволяло верить в возможность полного затмения разума и совести своего народа.

Не сразу поверила этому и Александра Львовна, оставаясь в Ясной Поляне, где прошла ее жизнь с отцом, глубоко запечатлевшись во всем ее внутреннем облике.

При советской власти, Александра Львовна старалась сохранить дом, память и заветы отца. Надеялась и на должное уважение к его имени со стороны новых вождей. Но все больше сталкиваясь с преступностью власть имущих, испытывав на себе мучительные преследования, в конце концов простилась со всем ей дорогим и приняла на себя тяжелый крест изгнанницы.

Дочь великого русского писателя, графиня, сама одаренная литературным талантом, могла бы на чужбине завоевать надлежащее место, оказаться на виду высших кругов. Но врожденная тяга к земле, любовь к людям, направили ее в иную сторону, — помощи ближнему, что требовало неустанного труда, терпения и лишений. Ее ближайший друг, Татьяна Алексеевна Шауфус, стала ее преданной помощницей.

Так на американской земле выросла ферма, возрождение лица русской деревни, где закукарекал с «добрым утром» петух, защебетали детские голоса воспитанников летнего лагеря, изучающих язык родителей, Закон Божий. По воскресеньям обязательно — в белых рубашечках...

Многие русские эмигранты нашли отдых и радость в этой родной обстановке, обласканные вниманием Александры Львовны.

Всегда просто одетая, непрерывно работающая, Александра Львовна вместе с этим являлась образцом дореволюционной интеллигенции и духовного русского аристократизма, — наследие отца, который нося крестьянскую рубаху и сапоги, питал весь мир тонкостью своего ума и пера.

К деятельности Александры Львовны примыкали другие помощники, ревнители той же христианской идеи помощи, американцы и русские. Создался «Толстовский Фонд», который развил яркую деятельность, стал интернациональной организацией.

Милосердная рука Александры Львовны протягивается далеко за океан: во Францию, Германию, Италию, Иран... повсюду, где только плачет в нужде и одиночестве русский беженец.

Время безвозвратно уносит многое... но могучее слово — «Добро» остается вечным.

В истории русской эмиграции, синонимом добра, вечным останется имя — графини Александры Львовны Толстой.

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА ШАУФУС

В 1909 г. окончила Киевский Институт с золотой медалью. Поступила в Дрезденскую Консерваторию по классу рояля и 16-ти лет выступала в открытом концерте с оркестром.

Замужество через год с сыном бывшего министра Путей Сообщения Шаффгаузен-Шернбергер-Эк-Шауфус.

Сейчас же после мобилизации в первую Мировую войну поступила сестрой в Общину Св. Георгия Российского Общества Красного Креста.

После революции 1917 года примкнула к общественной работе, в связи с усилиями сохранить школы Сестер Милосердия при Общинах Красного Креста от разрухи и расформирования при новой власти.

Начиная с 1923 года была три раза арестована вместе со своим другом — тоже сестрой Георгиевской Общины, Ксенией Андреевной Родзянко, и после третьего ареста, в 1928 году сослана в Восточную Сибирь на три года.

После отбытия срока наказания, обе сестры милосердия ненадолго вернулись к медицинской работе в Москве, откуда были выкуплены у Советов друзьями за 500 долларов каждая (в то время такие выкупы практиковались в Советской России) в 1933 году.

После приезда в Прагу, получила работу по специальности в Чешском Красном Кресте, возглавляемом тогда дочерью президента Массарика — Алисой Массарик. Близко сотрудничала с графиней Софией Владимировной Паниной, создавшей в Праге Русский Дом.

Осенью 1938 года переехала в Соединенные Штаты Америки, где после 16-летней разлуки вновь встретилась с Александрой Львовной Толстой.

В апреле 1939 года был создан Толстовский Комитет, в состав которого вошли известные общественные деятели: секретарь и друг президента Херберта Хувера — д-р

Е. Т. Колтон, София Владимировна Панина, проф. Ростовцев, Б. В. Сергиевский, Б. А. Бахметьев, С. Рахманинов и многие другие.

Постепенно Фонд, под руководством двух подруг, разрастался. В 1941 году Толстовскому Фонду была пожертвована ферма под Нью-Йорком — 75 акров, с несколькими домами.

В 1948 году Т. А. Шауфус была командирована за границу, где постепенно она развила громадную деятельность и Толстовский Фонд со временем разросся в международную организацию. Была оказана материальная помощь десяткам тысяч голодающих, престарелым, более 22-х тысяч беженцев были перевезены только в США, не считая перевезенных в другие страны.

Работа была очень тяжелая, так как в пятидесятых годах, в разгар эмиграции, союзники — американцы и англичане — абсолютно не понимали что происходило в Советской России, на сколько опасно было людям возвращаться на родину, где их мучили, сажали в тюрьмы, ссылали и расстреливали. Американцы и англичане удивлялись — почему военные всех наций с восторгом ехали домой, а эти «странные люди — русские» отказывались возвращаться на родину.

К 1962 году сильно уменьшилась работа Толстовского Фонда по помощи эмиграции русских из стран Западной Европы и Ближнего Востока.

Между 1952 и 1962 годами Татьяна Алексеевна ежегодно посещала православные монастыри в Иерусалиме, где она много потрудилась по вопросу охраны имущества Миссии и материальной помощи монастырям, особенно Гефсимании, с отделением школы в Вифании.

С 1962 года уменьшившаяся нужда в помощи эмиграции русских дала возможность усилить работу в Америке, где с 1960 года Татьяна Алексеевна была генеральным директором Фонда, сохранив за собой должность руководительницы всей заграничной работой.

Первый Дом для стариков на Ривьере, в Канн был организован в 1952 году, с последующим развитием таких Домов во Франции, Германии и даже в Западном Берлине.

Средства на эти Дома отпускались международными организациями, но создание и управление этими Домами всецело лежало на персонале Толстовского Фонда, а также и по сей день — подбор кандидатов.

С 1962 года начата была более интенсивная работа в трех странах Южной Америки: Аргентине, Бразилии и Чили.

Всего создано 984 места в Старческих Домах, а к концу 1970 года запроектировано еще 263 места.

Очередной задачей Татьяны Алексеевны является создание Nursing Home на территории Центра Толстовского Фонда на 96 человек, нуждающихся в медицинском уходе.



Т. СМЕРНОВА-МАКШЕЕВА

РОДНАЯ СТРАНА

Если к ней я вернусь, то я лапти надену,
повяжу себе голову темным платком
и пойду по родимой, чтобы всю, неизменно,
исходить ее вдоль, поперек и кругом.

К каждой пяди земли прикоснусь я шагами,
обниму долгим взглядом просторы полей,
породнюсь я с лугами, лесами, степями,
моим сердцем и чувством солью себя в ней.

Я забуду о том, как жилось на чужбине,
разорву цепь тяжелую будничных дней, —
ведь живя средь людей, я была как в пустыне,
одинока, — в беседе лишь с думой моей.

Всё умчалось как сон, не вернется обратно...
но ОНА мне родная душою своей.

Я уйду в ее глубь далеко, безвозвратно,
моим сердцем и чувством солью себя с ней.

1945.



ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА АНТОНОВА

Родилась в Петербурге. Училась в Сибири, в городе Зея, Амурской области; аттестат зрелости получила по окончании 8-го класса гимназии в г. Благовещенске.

Переселилась в Соединенные Штаты в 1923 году. В 1928 году окончила Вашингтонский университет в г. Сеатле с дипломом геолога и горного инженера.

Работала инженером на Аляске, в штатах: Вашингтон, Айдахо, Калифорния, Пеннсилвания. С 1940 года по настоящее время работаю инженером в штате Нью-Йорк.

Начала писать стихи еще будучи в Благовещенске. Много моих стихов было напечатано в разных повременных изданиях. В 1944 году издала книгу стихов «Отражения» и в 1949 году приняла участие в Сборнике Кружка Русских Поэтов в Америке «Четырнадцать».

Елена Антонова

ПОТРЯСЕНИЕ

(Воспоминание)

Утро 1 сентября 1923 года в Токио выдалось жарким и очень ветренным, Я плохо спала в предыдущую ночь, так как после сильной грозы забеспокоились крысы, вероятно предчувствуя опасность. Они стадами бежали, топоча как лошади, по соседним и нашей крышам. Одна проникла даже в нашу комнату через неплотно задвинутую стену и нам с мамой пришлось ее выгонять тем же путем, чтобы она не заскочила в соседнюю комнату, где спали хозяева с пятью маленькими детьми.

Едва двигаясь от усталости, я прибрала кафе «Россия», где я работала кельнершей и, надев халатик, собралась идти в общественную баню, когда пришла Маруся, моя приятельница по Харбину. Она с мужем только что вернулась из

Америки, совершив туда напрасное путешествие. Их пароход, с несколькими стами русских эмигрантов, прибыл в Сан-Франциско после того, как закрылась квота и был отправлен обратно в порт, из которого он прибыл, то есть в Иокогаму. Все русские оказались в плачевном положении, так как должны были жить как-то в Японии до открытия следующей квоты.

Мне удалось устроить Сёму, мужа Маруси, помощником к Золотову, русскому химику в Иокогаме, который делал духи и помещал их на комиссию в магазины и рестораны, посещаемые русскими.

Мой хозяин, японец Цузи, согласился взять Марусю на мое место, так как через день мы с мамой отправлялись в Америку и мама уже укладывала вещи в чемодан. Показывая Марусе что и как нужно делать, я подвела ее к полке и, сняв несколько флаконов духов, дала ей их посмотреть и понюхать. И вдруг что-то подняло нас вместе с домом, резко опустило и начало качать рывками. Бутылки с винами посыпались с полок в баре и сестра хозяйки, Тосико, бросилась их ловить, но увидев, что это бесполезно, закричала: «Бегите!» И мы с Марусей, не дожидаясь второго приглашения, выбежали на улицу и вместе с другими побежали к мосту через канал, где не было высоких зданий, которые крошились, как пряничные, засыпая улицу и бегущих по ней людей кирпичами и песком. Ветер подхватывал пыль и тащил клубами во всех направлениях.

Вспомнив, что в доме осталась мама, инвалид с искусственными суставами ног, которая без помощи не может выбраться, я бросилась назад в дом, крича: «Мама! мама!» Еще будучи на улице, я заметила, что второй этаж кафе «Россия», построенный в японском стиле, съехал и повис краем на электрических проводах. Там была наша комната и я думала, что мама там, но она отозвалась из кухни. Я вбежала туда и увидела ее стоящей среди кастрюль, рассыпавшихся ящиков с сахаром и других кухонных атрибутов, слетевших с полок и с крючков на стенах.

Не будучи в состоянии перелезть через эти баррикады, она терпеливо ждала, когда повар кончит гасить угли, выброшенные из печки землетрясением и горящие на полу и на столах. Повторяя «дайзебу, дайзебу» (по-японски «ниче-

го»), он заливал и топтал огонь. Было двенадцать часов дня, и повар готовил завтрак для ресторанных посетителей, когда началось землетрясение. Взяв под руки маму, мы с ним вынесли ее на улицу и присоединились к толпе у канала, где отыскивали Марусю, всё еще сжимавшую в руке флакон благоухающих духов.

Когда землетрясение прекратилось, мы вернулись в кафе, построенное в русском стиле из крепко сколоченных бревен и поэтому не развалившееся, как кирпичные и цементные дома, от которых остались только железные остовы.

Обессиленная нервным потрясением, я лежала на тротуаре перед кафе, когда подошел Цузи в сопровождении японки-няньки Хару, державшей на спине годовалого ребенка и за руку двухлетнего, и сказал: «Идите в деревню, где живет мой брат. Хару-сан знает дорогу, а мы с женой и с тремя старшими детьми нагрузим имущество в лодку на канале и последуем за вами по воде, так как начались пожары и здесь опасно».

Спросив у мамы, что взять с собой, я поднялась на второй этаж, задвинула стену, выходящую на соседнюю крышу, потому что языки пламени уже врывались в комнату. Взяла шкатулку, где в потайном дне были серебряные ложки и кольца для салфеток, вывезенные контрабандой из Сибири; мамино платье, в кармане которого лежали виза и билеты в Сан Франциско, приобретенные накануне, и мою сумочку со ста иенами; остальные, заработанные за год деньги, лежали в банке и пропали безвозвратно вместе с банком. Я не нашла, вероятно уже уложенный, свой аттестат зрелости, выданный мне вместо золотой медали по окончании 8-ми классов (отсутствие которого потом причинило мне много хлопот при поступлении в университет). Завязав всё в узел, перекрестившись на икону в углу и засунув иконку Божией Матери за пазуху, я спустилась на разрушенную улицу и мы двинулись.

Пройдя квартал, мы вышли на большую площадь, где сидели сотни людей со своим скарбом, а пламя с треском и дымом уже пожирало дома вокруг. Увидя улицу, еще не горящую, мы направились к ней, но мама была уже не в состоянии идти, умоляя нас оставить ее и спастись самим. Я

не могла оставить ее и стояла возле, не зная, что предпринять. Для трех женщин с двумя детьми и узелками нести маму был непосильный труд. Вдруг ко мне подошел низенький коренастый японец и сказал: «Я хочу вам помочь». Я обрадовалась, но спросила: «А как же ваша семья может обойтись без вас?» Он отвечал: «Мы у себя дома, а вы наши гости, и мы должны для гостей делать всё возможное, чтобы они не пострадали».

Мама села на наши переплетенные руки, и мы зашагали быстрее, лавируя между горящими и провалившимися улицами, тысячамидвигающихся японцев и ревущими пожарными автомобилями. Так как японец был гораздо ниже меня, мне пришлось идти наклонившись и через несколько часов моя спина разболелась. В сумерки мы вошли в какой-то парк, и я свалилась на траву и заснула, изнуренная долгим переходом с ношей. Не знаю, сколько времени я спала, проснулась от того, что мама трясла меня, говоря: «Надо идти, огонь уже на верхушках деревьев». Я спросила: «А где японец?» Мама отвечала: «Ему, наверно, надоело возить-ся с нами, и он ушел».

Голодные и усталые дети ревели, нянька их успокаивала, Маруся плакала, а мама, как всегда, казалась спокойной и бодрой, хотя знала, что пройти может только несколько шагов. Моя спина, ноги и обожженная искрами шея, болели. Во рту пересохло. Треск горящих ветвей, сирены автомобилей, гул голосов и грохот взрывов не позволяли говорить, а горячий ветер и дым затрудняли дыхание и «ели» глаза. Я взглянула на небо, оно было багровое от зарева горящего Токио, а полная луна сияла каким-то особенно серебристым светом.

Мы сделали не больше десяти шагов, когда нас догнал наш японец с двухколесной тележкой, на которой возят ящики. «Я надеюсь, что Бог простит мне мое воровство, — так как я украл тележку для спасения человека», — сказал он, подавая мне банку с водой, добытой им где-то. Мы усадили маму на тележку, спиной к оглоблям и, взявшись за них, повезли. Мои стертые ботинками без чулок пятки, ударяемые иногда колесом тележки, сильно кровоточили, но останавливаться было нельзя.

Поздно ночью мы закончили благополучно наш десяти-мильный путь от Токио до деревни, где жил с семьей художник Цузи, дом которого, европейского стиля, устоял от разрушения, только камин раскололся. Едва переступив порог дома, мы все сразу уснули. Когда я встала поздно утром, нашего спасителя японца и след простыл, только оставленная им тележка свидетельствовала о том, что прошедшие сутки не были сном. Я не поблагодарила японца и даже не узнала его имени. Верю, что Бог вознаградил его и спас его семью от участи 75 000 человек, погибших в тот ужасный день.

Наши мытарства не кончились, как не кончились и землетрясения, повторявшиеся по несколько раз в сутки, не такие сильные, как первое, но заставлявшие нас иногда выбегать на соседнюю теннисную площадку, которая в один из толчков раскололась, образуя глубокую и широкую расщелину посередине. Хозяин с женой и детьми пришел на другой день без вещей и денег, — все сгорело в лодке на выходящем от пожара канале. Я отдала ему половину своих денег, чтобы кормить детей. Он организовал охранные отряды, потому что преступники, главным образом корейцы, вышли из открытых тюрем и убивали всех, спасшихся от землетрясения. Наш пароход ушел в Сан Франциско без нас, так как мы не имели возможности попасть к берегу.

Через несколько дней, когда небо над Токио приняло нормальную окраску, мы с Марусей пошли пешком в этот бывший город, где с трудом разыскали с помощью погорельцев нашу улицу. На месте кафе «Россия» была куча золы, не отличавшаяся от остатков других домов. В единственном уцелевшем отеле «Империял» помещался американский Красный Крест, выдавший нам одежду и консервы. Японские организации выдавали всем погорельцам, разместившимся на полях и улицах пригородов Токио, по чашке вареного риса в день. Маруся ничего не ела и все время плакала, потому что не знала что случилось с ее мужем. Мы решили пойти с ней в Иокогаму, где я тщетно старалась найти место, где был дом Золотова, — везде была зола, высохшие каналы, обугленные балки и обгорелые трупы.

Я отыскивала место, где был отель с несколькимистами русских эмигрантов, — он провалился бесследно. Из нахо-

дившихся в нем во время землетрясения, спаслись только двое: швейцар, стоявший у входных дверей и русский купец, находившийся в верхнем этаже. Купец стал вылезать из окна, когда здание проваливалось в разверзнувшуюся землю. Японцы, оказавшие снаружи, вытянули его, ободрав его спину об оседающую раму окна. Об этом мы узнали позже, на пароходе, от людей потерявших жен и детей в этом отеле, когда они сами ушли по делам в город.

Только через две недели нам удалось нанять рикшу и добраться до берега, где нас подобрал патрульный пароходик и перевез на пароход, идущий в Кобе. Иностранная организация помощи беженцам привезла нас с парохода в школу, где уже было много русских, спасшихся от землетрясения в Токио и Иокогаме. Когда мы вошли в школу, к нам бросилась, ковыляя, какая-то забинтованная фигура. «Маруся!» — «Сёма!» И они заключили друг друга в объятия, рыдая. Тут и я не удержалась и расплакалась в первый раз после всего пережитого.

Сёма, выброшенный первым толчком с Блёфа, где помещался дом Золотова, на берег залива, бросился в воду и поплыл к пароходам, стоящим на рейде. Из разрушившихся нефтяных танков на берегу, нефть разлилась по заливу и запылала и он плыл в море огня, обжигаясь. Его подняли на один из пароходов и, оказав ему первую помощь, увезли потом в Кобе.

Нас разместили в классах на полу, отгородив семьи занавесками. Но беженцы всё прибывали и прибывали и через неделю нас перевезли в бараки на окраине Кобе, а оттуда, еще через неделю, погрузили на пароход, идущий в Сеаттль, снабдив неимущих документами, билетами и предьявительскими деньгами.

От волнения я потеряла память и некоторое время не могла вспомнить, что было до землетрясения. Казалось, что моя жизнь началась только в этот день, который до сих пор живет в памяти, как самое потрясающее событие в моей жизни, а их было немало и после.

Нью-Йорк, 1969 г.



ОЛЬГА ИЛЬИНА

ПЕРВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР В САН ФРАНЦИСКО

(Воспоминания о вечере Гумилева)

Вскоре после того, как мы приехали сюда в Сан-Франциско, еще в начале 20-х годов, наша знакомая сказала мне, что здесь организовался русский Литературно-художественный кружок, что собирается он по пятницам, где-то на другом конце города. Туда надо ехать на трех трамваях и, хотя по вечерам мы все еле дышим после 8-часового рабочего дня и всей домашней работы, к которой мы еще не применились; и хотя дети остаются дома одни, — всё же ехать туда надо.

«Вы должны туда поехать, — сказала она мне строго, — должны поддержать это начинание». Можно было бы с тем же успехом сказать умирающему от голода: «Вы должны, должны купить себе хлеба, для того чтобы поддержать заново открывающуюся булочную».

Мне было сказано, что одна из организаторш этого кружка — дама, страстно преданная русской литературе, «колосс энергии», а председатель кружка — талантливый молодой человек из Петербурга; этот молодой человек, я так поняла, стремился стать лифтьером, чтобы, езда вверх и вниз, нажимая кнопки, называя этажи, внутренне перерабатывать теории тех философов, которых он изучал по вечерам.

Мне тоже хотелось делать то, что заставляет жизнь, а думать о другом, о большем и лучшем. Я уже пробовала это в магазине, где я служила продавщицей бус, но меня там предупредили, что это может кончиться плохо.

Куда мы приехали в этот вечер, я не знала, — в какой-то подвал. Мне помнится, что был полумрак, и лампа горела только на столе лектора. Итак, может быть, это впечатление

темноты создалось от серых потрепанных фигур всех нас, новоприбывших беженцев; но может быть, темно было только у меня на душе.

Кто-то уже стоял за столом и рассказывал, кто такой Гумилев, и что он написал и сделал.

«Гумилев, как вы, конечно, помните, — вместе с Мандельштамом основал школу акмеистов. Он, как вам всем известно, — один из самых выдающихся мастеров стиха».

Но мы ничего не помнили, нам ничего не было известно. После многих лет бездомных скитаний, в отчаянной борьбе за жизнь, мы успели забыть всё, слушали всё, как новое, забыли даже того «себя», который всё это знал когда-то.

«Память, ты слабее год от года,

Я ли это, или кто другой» . . .

Затем выступил докладчиком тот самый молодой человек из Петербурга, которого нам обещали. Когда он начал говорить, — был один такой момент, когда не хотелось слушать, чтобы не вспоминать того иного «себя», который был способен когда-то к восприятию отвлеченной мысли, чистой поэзии и всего, что с этим связано.

«Только змеи сбрасывают кожи,

Чтоб душа старела и росла,

Мы, увы, со змеями не схожи,

Мы меняем души, не тела. —»

У докладчика было худое, бледное лицо и такой голос, как у инструмента, когда опущен модератор. Вначале я ловила только отрывки фраз: Гумилев верил, что человек должен органически переродиться . . . Гумилев — служитель Высшего смысла. За этот Высший смысл он борется, за него идет на подвиг, за него он жертвует жизнью.

«Я угрюмый и упрямый зодчий

Храма, восстающего во мгле,

Я возревновал о славе Отчей,

Как на небесах и на земле».

Может быть, это был голос докладчика, тихий и шедший откуда-то глубже, чем обычные голоса, но через него постепенно нам стала передаваться вся гумилевская героическая тоска по ином человеку, вся его и наша общая тоска по иному «себе». И этот облик иного «себя» вставал перед

ним, как мечта, как надежда, как призыв к борьбе. Но не к той иссушающей жизни борьбы, какой боролись мы, исчисляя свои дни рабочими часами и долларами, теряя направление и цель. —

«А для низшей жизни были числа,
Как домашний подъяремный скот».

Как героической, гумилевской борьбе с душевной слепотой, с окаменелостью сердца, со страхом жизни и страхом смерти.

«За то, что не был ты как труп,
Горел, искал и был обманут —
В высоком небе хоры труб
Тебе греметь не перестанут.»

Что значит для всех нас этот вечер? Для нас, которых Судьба грубо, как поршнем, толкала всё глубже в толщ материи, для нас, начавших среди всех наших забот и тревог забывать даже и о существовании Высшего Смысла...

«И забыли мы, что осиянно
Только СЛОВО среди земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово, это — Бог».

Как благодарить тех, кто тогда помог нам всё это вспомнить?



Е. МАЛОЗЕМОВА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПУТЬ НИНЫ ФЕДОРОВОЙ

Русская литература XVIII и в начале XIX века бедна писательницами. Промелькнула одна из первых автобиографий русской женщины, кн. Наталии Борисовны Долгорукой, рожденной Шереметьевой (1714—1771 гг.). Даже в наше

грозное и жестокое время нельзя читать без волнения все мытарства ее поездки в Сибирь, опала и ссылка любимого мужа, увоз его в Новгород, и казнь его там в дни бирюзовщины. После возвращения из Сибири Наталия Борисовна приняла монашество в 1758 году. По просьбе своего сына она успела написать часть своей автобиографии, не помышляя о художественной выразительности русской прозы того времени.

В истории русской поэзии почетное место занимает Анна Петровна Бунина (1774—1828). Ее стихи грустно-сентиментальные полны искренности и глубокого чувства. Они высоко ценились в ее время. В 1811 году она была выбрана почетным членом Об-ва Любителей Русской Литературы. Ее портрет висел в Императорской Академии Наук. При дворе ее стихи были признаны достойными высоких наград. Императрица Елизавета Алексеевна подарила ей в 1811 году золотую лиру, украшенную бриллиантами. Во время ее болезни в Англии, в течение двух лет, все расходы были уплачены правительством по приказу императора Александра I.

Начало и середина XIX столетия дают нам выдающихся талантливых женщин в различных литературных салонах. Только в конце XIX века, в начале XX, и в наше время появились среди лучших представителей русской литературы поэтессы и писательницы: Щепкина-Куперник, Зинаида Гиппиус, Тэффи, Марина Цветаева, Анна Ахматова и многие другие плеяды и созвездия.

Каждое новое имя в русской литературе вызывает настоящее внимание. Требуется стилистическая законченность, своеобразность формы и содержания, динамика душевной жизни человека до мельчайших деталей, до «сырых мыслей», возникающих в «потоке сознания и подсознания». Через всю эту Сциллу и Харибду новейшей суровой критической мысли надо пройти литературному произведению.

Для пишущих на иностранном языке встают особые трудности. Недостаточно легкого знания разговорного языка и наличие таланта. Необходимо основательное знание исторического развития языка, неуловимая тонкость и точность чужого языка.

К общему удивлению и радости русских эмигрантов в 1940 году произошло большое литературное событие. Американский журнал «Атлантик Монтсли» объявил конкурс на лучший современный роман. Среди присланных на конкурс 476 романов был признан лучшим и достойным премии в десять тысяч долларов — роман на английском языке «Тзе Фамили».

Автором этого романа оказалась малоизвестная русская женщина: НИНА ФЕДОРОВА.

В течение нескольких лет этот роман был переведен на 12 различных языков. Ее второй роман «Дети» был переведен на восемь языков. В 1937 году в Тяньзинской газете были напечатаны ее два критических очерка на английском языке: 1) Н. Гоголь и Ж. Престлеу, 2) Ф. Достоевский и Х. Волполе.

В романе «Семья» Нины Федоровой всё важное и достойное совершается просто и сердечно, как самое обыденное, едва заметное, без патетических ситуаций. Мать и бабушка в романе «Семья» строят крепкую семью, поднимают ее в тяжелых условиях эмигрантской жизни в Китае, во время китайско-японской войны. Они обе направляют свою семью в то русло, где любовь, помощь и признательность «не булыжники, которые топчутся ногами».

От «человеческой семьи» Нины Федоровой надолго остается благоухание чистоты, русской сердечности и радушия, глубины религиозного Духа Святого... У прочитавшего эту книгу мысли невольно останавливаются на благородстве человеческого достоинства, на уважении к маленькому человеку, к «униженным и оскорбленным».

Таковы начальные шаги писательского пути Нины Федоровой. Они не покинут ее творчества. В течение 30 лет в ее разнообразной писательской жизни появляются 4 романа, до 20-ти рассказов, многие критические очерки, 11 детских пьес и ее роман «Жизнь» в трех частях (в 1966 году).

В своих многочисленных выступлениях, как блестящий лектор, она знакомит слушателей с литературными произведениями не только из русской жизни. Оживленно, с неподдельным юмором, она передает идеи и быт двух япон-

ских писателей (оба были кандидатами на Нобелевскую премию) и одного корейского романиста. Ее лекции о французской литературе и философских течениях всегда бывали литературным праздником в местном Литературно-художественном кружке,

Основной подготовкой к ее широкой деятельности была не только ее учёба в девятиклассной классической гимназии с педагогическими классами и с ее золотой медалью... Затем прошли успешно четыре года сложной научной работы на Бестужевских курсах на историко-филологическом факультете. Однако этим образованием Нина Федоровна не удовлетворилась. Живя с семьей в Харбине (она вышла замуж за профессора юриспруденции В. А. Рязановского), она поступила в колледж YMCA. Три года она изучает американскую историю и литературу, упорно учит, учит английский язык... Безукоризненно кончает она колледж «сумма кум лауде». Так прошли 16 лет ее подготовки к писательству.

Одновременно с учением шла ее педагогическая работа: преподавание русского языка и русской литературы в гимназии Хорвата. По приезду в Америку она, ассистент профессор, преподает в Корваллис Университете и в летних сессиях Сан Франциско университета.

Один из критиков в журнале «Атлантик Монтсли» просто и правдиво определил главные ценности писательского труда Нины Федоровой. Его мысли помещены на обложке английского издания «Тзе Фамили»:

«Семья» — одна из редких книг. В ней и веселье и трагичность. Ее быстро прочтешь, но многое останется в памяти. Она ярко изложена, щедро эмоциями и проникнута основной темой: духовной бодростью и глубокой верой. Это делает ее правдивой и верной для всех времен, включая и наше время».



В. ШНЕЕРОВА

РУССКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА В ЭМИГРАЦИИ

«И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!»

(Анна Ахматова «Мужество»).

Волной революции принесло русскую женщину к чужим берегам, по всему белому свету. В труде, в скорби и радости получила она новый ценный опыт не только для нее, но и для окружающих ее. Нельзя говорить о ней в единственном числе. Русских писательниц много и пишут они по-разному. Пред нами целая галерея: молодые и пожилые, пишущие рассказы, очерки, сказки, пьесы, повести, романы, мемуары, переводы, критику и стихи. Многие совмещают поэзию с прозой. Жизнь многих прошла рядом с знаменитыми людьми. Они — свидетельницы истории.

О своем ОТЦЕ написала Александра Львовна Толстая. Зинаида Гиппиус — о своем муже Д. Мережковском, В. Н. Муромцева-Бунина — о А. И. Бунине. Часто их проза проникнута лиризмом. Во многих романах угадываются автобиографические черты.

Почти все писательницы начали с газетной работы, потом стали печататься в журналах и сборниках. Романы начали появляться в 30-х гг. Н. Берберова начала с романа «Последние и первые», затем «Повелительница» и цикл рассказов «Бианкурские праздники», где чувствуется форма дневников. Ее критические статьи об искусстве встречаются в «Новом Журнале». Обе биографии, «Чайковский» и «Бородин», читаются охотно как старыми так и молодыми.

Романы Берберовой, Даманской, Одоевцевой, Сабуровой, Логуновой, Печаткиной, Федоровой и других получили широкую известность. Особое место заняла Тэффи своими рассказами, своим тонким, легким юмором и точной наблюдательностью. Н. Федорова сохранила живой тон повседневной жизни и свой особый мягкий юмор.

Былые мотивы женского творчества: любовь, материнство, брак и соответствующий им лирический тон перестали быть всепоглощающими. Явились новые темы и новые формы.

Война, революция, прошлая Россия, новая Россия, свое и чужое в ней, новые страны и люди, среди которых русская женщина нашла свой дом, перемены в ее миропонимании.

Имен много: в беглом очерке придется коснуться лишь тех, которые затронули ответные струны у нас, через Атлантический океан, через весь Северо-Американский континент.

Прозаические формы разнообразны. В рассказах и очерках есть психологические элементы, философия, фантастика, мистика. К этому прибавились биографии художников и музыкантов, критические статьи, путешествия вокруг земного шара с обширными этнографическими наблюдениями. При всем разнообразии прозаических и лирических произведений, их объединяет любовь к России, общая скитальческая судьба, любовь к людям и жизни. Память сохранила ценное. Многие издали свои книги. Характерны их заглавия: «Разговор с памятью» (Прегель), «Одиночество» (Таубер), «Оливковый сад» (Кузнецова), «После России» (Цветаева), «Отраженья» (Е. Антонова), «Свеча зажженная» (Е. Грот).

Поэты пишут о слове, о муках и радости творчества, о России и разлуке с ней, об одиночестве, о молитве, о природе во всех ее формах: море, горы, лес, дорога, сад, гроза и солнце, ветер и снег. Иногда и о любви, о близких людях, о надеждах и о жизни и смерти. Е. Антонова пишет:

«Не бойтесь слов — они даны

Чтоб выражать и мысли и чувства,

А. Головина:

«В привычных словах, в начертании числ

Настойчивый зов, узнаваемый смысл,

Созвездья, соцветья, союзы, семья,
Круг замыкают возле меня».

Пейзаж у поэтов различен. У Пестрово
«золотым залогом
залогом счастья горели звезды
Южного Креста»,

у Таубер:

«О чем нам гадать с листопадом
Днем сегодняшним счастливы мы!»

Это успокоенное чувство доминирует у многих. Нонна Белавина пишет о людях:

«Но мы бездомные бродяги
Делить умели всё равно:
Глоток воды из старой фляги
И хлеб, нам поданный в окно».

Работа над стихом и знакомство с иностранными поэтами создали искусство перевода. Вера Булич переводила финских поэтов. Другие переводчицы: Авинова, Алексеева, Анстей, Бушман, Визи, Элла Боброва, Славина и др.

Среди русских писательниц особое место надо предоставить Марине Цветаевой. Ее имя было знакомо нам до революции в России. Она ищет всё время новых путей и в смысле формы, а также многообразия сюжета. Цветаева в своей «Прозе-пафос» ищет дух, связь с собой и миром в звуках — созвучья.

Жизнь ее оборвалась трагически, как и жизнь двух других поэтесс: Раисы Блох и монахини Марии в гитлеровской Германии.

Наряду с поэзией у М. Цветаевой ряд драматических произведений, критическая проза, автобиографические очерки, рассказы. Форма очень своеобразная: лирическая сатира на мелкий немецкий мещанский мирок в «Крысолове». Яркий пример ее стиля — очерк «Наталья Гончарова» (1929) единая в своем роде художественная критика. Ярко выявлен образ человека и живописца. Гончарова, по словам Цветаевой, растение, живой глагол. «Сама — растение, она не любит их, куст, ветвь, стебель, побег, лист отдельно, любит в них себя, нет лучше чем себя, свое». Эти слова подхо-

дят к самой Цветаевой, которая в слове ищет дух, связь с собой и людьми, в звуках — созвучия».

Оторванность от России требует от нас изучения и умения передать то, что входит в нас в чужой стране, что создает нашу новую жизнь. Многие русские писательницы приобретают содержательность от контакта с действительностью, от ухода от узкой любовной лирики в сторону наибольшего подъема в сторону широкого миропонимания и своей индивидуальной философии.



АННА ОБОЛЕНСКАЯ-РЕННИНГ

Я — дочь князя А. Д. Оболенского (б. члена Государственного Совета) и княгини Елизаветы Николаевны, рожд. светл. княжны Салтыковой. Я родилась в Петербурге в 1898 г. Училась дома, держала экзамены при Александровской гимназии и там окончила последний педагогический класс.

Девочкой участвовала в спектакле «Свадьба Солнца и Весны» во дворце в Павловске по случаю серебряной свадьбы вел. князя Константина Константиновича и вел. княгини Елизаветы Маврикиевны. Была на пасхальном празднике у императрицы Марии Федоровны в Аничковом Дворце. Была на многих балах и вечерах. Проявляла особый интерес и способности к рисованию и литературе. Наше имение в Калужской губ. лежало вблизи Оптиной Пустыни, где я часто навещала того или другого старца. В том же имении отец построил стекольный завод, где я заведовала художественным отделом, рисуя формы ваз и прочих изделий. Там же я учредила детскую библиотеку.

Мы покинули имение осенью 1917 г. В страшные годы застряла я в России до 1923 г. Я жила, главным образом, в Москве с родителями, работала в архиве; жила в Петрограде у бабушки Салтыковой. Там служила в Комиссии по ох-

ране Памятников Искусства и Старины. Переживала обыски, аресты близких, холод и голод; носила передачи родным в тюрьмы и лагеря. Была замужем за Ник. Ник. фон Герсдорф до его кончины в 1953 году. В 1923 году удалось нам с мужем выбраться из России. Мы переселились в Дрезден, где уже обосновались мои родители, бежавшие раньше. Там мы перебивались трудом в самых разнообразных профессиях: занимались без успеха комиссионными делами, давали уроки языков. Я работала то в шляпной мастерской, то в ателье дамских нарядов, то в кондитерской; была рисовальщицей на текстильной фабрике; мастерила кукол, коробки, закладки, цветы из ленточек и продавала их. Выступала танцевщицей на концертах русского хора. Сотрудничала в немецких газетах еженедельными статьями и моими иллюстрациями. Рассказы мои помещались в Дрезденской газете, а мой манускрипт воспоминаний сгорел при налете.

С 1933 г. родители мои, потеряв остаток своих денег и выстроенный ими домик в Дрездене, переселились к нам на квартиру... Отец вскоре после этого скончался. Мать осталась на нашем попечении до конца жизни в 1957 г.

У нас было пять детей. Из-за режима Гитлера одна из дочерей погибла в больнице, а в тюрьме — мой старший брат. Последние годы войны мы терпели не только страх от нацистов, но снова и голод, и холод, и уплотнение.

В 1937 г. я была официально записана художницей, могла легально продавать и выставять мои произведения. Во время уничтожения Дрездена авиационным налетом в феврале 1945 г., дом, где мы жили, и где сидели в подвале, был в прах разбомблен, и сгорел до тла. Вся семья чудом спаслась из огня. К счастью, мой муж служил уже с 1936 г. в шведском консульстве и получил шведский временный паспорт. Благодаря этому нам удалось всей семьей перебраться в Швецию. Тут пришлось снова налаживать жизнь, без знания языка и без гроша за душой.

В 1953 г. мы получили шведское подданство, и вскоре я была включена в словарь шведских художников под именем Ф. Герсдорф-Оболенская; так я подписываю свои картины и по сей день. Я специализировалась на детских портретах, цветах и пейзажах акварелью.

Дети все поженились и повыходили замуж; у меня уже десять внуков. В 1956 году я вышла вторично замуж за экономиста Анатолия Рудольфовича Реннинг, чью фамилию я сейчас и ношу.

ЗА КОГО МЕНЯ БОГ МОЖЕТ СЧЕСТЬ?

Я пирожник, — художник, — и прачка.
С юных лет — я поэт-самомячка.
Во дворах я бывала — немало,
Утопала и в прелестях бала...

Я вкушала греховное зелье,
Я у старцев молилась в их кельях,
В покаяньи терзала я плоть...
За кого меня взыщет Господь?

Росла я в России мне милой,
И вырвана — темною силой!
Вдоль трущоб я навоз выметала,
Под конвоем деревья срубала...

Горевала о всем с русским людом...
На чужбину попала лишь чудом.
Продавала чулки и корсеты,
И еще паковала конфеты,

Танцевала на сцене вприсядку,
И боярскую, русскую пляску.
Я к церковным примкнула кругам,
Обучала людей языкам,

Я писала цветы и портреты,
И статьи для воскресной газеты.
Я детей родила — очень много;
Назиданья читала им — строго.

Дочь больную к себе Бог призвал,
Смертный ужас мне сердце терзал.
Я знавала — и холод, и голод,
Две войны — (ах, дух мой был молод...)

И бомбы, и смерть у крыльца,
И пламя из окон дворца...
Была дочерью, ныне жена, —
Мать, — и бабушка, — многим нужна...

Лет с десятков была я вдовой,
Уходила в семью с головой...
Ах, всего не могу перечесть...
За кого меня Бог может счесть?..

А. Оболенская.



АЛЕКСАНДРА ДАББЕРТ-ДРОЗДОВСКАЯ

МОИ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ В ЭМИГРАЦИИ

Мой отец — генерального штаба генерал-майор Лев Антонович Дроздовский был послан гетманом Украины в октябре 1918 года в Швейцарию, как военный агент при украинском посольстве, а я осталась в Киеве, чтобы сдать три последних экзамена при Зубоврачебной школе д-ра Прожейко.

Для меня эмиграция началась 13 января 1919 года. Тогда я с заграничным паспортом с Двуглавым Российским орлом и со штемпелем независимой Украины — Трезубцем Нептуна, напечатанным на нем, выехала в Германию. У меня был диплом на руках об окончании зубоврачебной школы в Киеве. В Германии его признали равным половине курса немецкого зубоврачебного института, и мне нужно было еще 2 года «доучиться» для получения немецкого диплома зубного врача.

1 июля 1919 года я начала работать в зубоврачебной клинике города Бергедорф возле Гамбурга, как ассистентка директора этой клиники. У меня был отдельный кабинет, была помощница, и работа быстро пошла на лад, под дружеским руководством моего «шефа» — доктора Риттера. Я получала 350 марок в месяц: из них — 200 марок мне стоил

полный пансион в семье моего шефа, а 150 марок оставалось мне на «мелкие расходы».

Через полгода я перевелась в Дрезден на такое же место, но с жалованьем 500 марок и 10 процентов с моей работы. Затем я закончила недостававшие мне 4 семестра. В 1921 году я вышла замуж за германского подданного — инженера Дабберта, а в 1923 году купила себе зубоврачебный кабинет, и открыла его в Дрездене.

В Германии тогда была ужасная инфляция, и мы с мужем решили эмигрировать. Только две страны впускали в то время германских подданных, и на свой собственный риск. Это были Бразилия и Абиссиния. В Абиссинии у нас были друзья, и мы выбрали эту страну.

17 декабря 1923 года мы добрались до Абиссинии, пробив в пути 20 дней. Это были интересные годы — борьбы и успеха.

Из огорчений, помню свои слезы, когда на абиссинской таможне в Дире-Дауа открыли мой ящик с зубоврачебным креслом, и я увидела на дне его мое кресло, разбитое на 5 кусков...

Я начала принимать пациентов на складном полотняном кресле... Тут явилась Божья помощь: одним из моих первых пациентов был директор железнодорожной Компании, который, увидав в углу моего кабинета жалкие куски моего кресла, предложил починить его в железнодорожном депо. И вот радость, через пару дней кресло было опять «работоспособно», хотя два куска от подставки так и остались отломанными. Тот же директор предложил мне стать их зубным Врачом. — Я не получала от них никакого жалованья, наоборот — я давала железнодорожным служащим 25 процентов уступки с моего тарифа, о котором два раза в год, я объявляла в местной газете. Но это давало мне сразу большую группу пациентов, в трех городах, так как я обязывалась работать один месяц в году в Дире-Дауа, один месяц в Джибути, а остальное время в Адис-Абебе. Я получала бесплатный проезд в первом классе для меня и моей семьи, в третьем классе для моих слуг и бесплатную меблированную квартиру на время моей работы в этих городах. Продолжалось это 15 лет.

В Адис-Абебе моя частная практика была очень обширная, живая, и интересная: все посольства — или «Легации», как они там назывались, а за ними и вся иностранная колония были, от начала 1924 года и до самого моего отъезда в 1942 году, моими пациентами.

В 1937 году мой супруг немец предпочел вернуться в Германию, а я с сыном 6 лет и с моими родителями осталась в Абиссинии.

У меня был уже собственный дом, лошади, автомобиль, целая группа хороших слуг, которые стали как бы членами семьи, и с которыми я до сих пор переписываюсь... и главное — мои пациенты! С 1924 года я сделалась официально придворным врачом императорской семьи.

Это было очень интересно: всем детям императора Хайле-Селлассие, с их раннего детства, я лечила зубы. Императрица приезжала ко мне лечиться. Приезд Ея Величества был целым событием: с утра полиция ставила усиленные посты на углах и перекрестках моей улицы. Императрицу всегда сопровождал ее личный евнух, а часто и дети, живые и милые, как все дети.

Войдя в мою гостиную и увидя портрет нашего государя, императрица каждый раз делала глубокий поклон перед ним...

На досугах я рисовала. Портрет государя Николая II, — копия с Серова, был моей работы; копии с Тициана, Веласкеза, Руисдаля и многие другие украшали мой дом.

Почти единственным способом сообщения были верховые лошади и мулы, и все они были моей гордостью.

Мой отец 17 лет проработал землемером в Аддис-Абебе, и до самого отъезда из Абиссинии, до 75-летнего возраста, без посторонней помощи он вскакивал на лошадь. Мой сын еще ребенком, когда ему было годика два, сопровождал меня, сидя передо мной на седле, на моем вороном жеребце, так мягко ступавшим, что мой сын засыпал и качался спящим на седле.

В 1936 году Абиссиния была завоевана итальянцами, и у меня работы стало, как говорится, «до отказа». Я уже не рисовала, некогда было. Иногда я писала, уж очень своеобразна была Абиссиния моего времени, от 1923 до 1943 года. В

альманахе, изданном в 1927 году в Лейпциге на немецком языке, «Женщины за океаном» (д-р Дриеш), первая статья «Абиссинские женщины» была моя. В 1934, 35, 36 годах в немецких и зубоврачебных журналах было опубликовано много моих статей. В Италии их перевели и напечатали, во французской «Иллюстрации» была напечатана моя статья с фотографиями путешествия в девственные леса «Джам-Джам».

Но итальянские власти начали делать затруднения, грозившие мне высылкой из их новозавоеванной колонии, и я перестала писать.

В 1939 году я вторично вышла замуж за итальянского офицера, капитана Поцци. Не прошло и года, как он был послан на Суданскую границу, и только изредка приезжал по делам службы в Адисс-Абебу. А в 1941 году вся Абиссиния была занята англичанами. Итальянские войска, как военнопленные, были высланы в Восточную Африку, а большая часть офицеров — в Индию, к подножию Гималайских гор. В 1942 же году англичане выслали и семьи итальянских офицеров, а с ними и нас в Италию. Большая часть итальянцев была рада вернуться на родину: они ничего или мало что теряли в Абиссинии. Но для меня — это была ссылка, и я потеряла всё, что было собрано за 19 лет энергичной работы. Я потеряла свой прелестный дом с 1000 м² земли. Другой участок земли в городе — 1500 кв метров... кабинет со всеми инструментами, два автомобиля, верховых лошадей, не говоря уже обо всем, что находилось в доме.

Нас выслали в трехдневный срок, а потом нам 5 месяцев пришлось ждать за проволокой пароход Красного Креста, для эвакуации в Италию, на котором мы объехали Южную Африку. Путешествие наше длилось 54 дня.

В Италии для меня началась новая борьба за признание моего немецкого диплома. Это был 1943 год, многие итальянские зубные врачи работали в Германии, и, поэтому мой немецкий диплом был признан в Италии, и я опять открыла свой собственный кабинет. Дело шло прекрасно: мой сын учился, мои родители вели хозяйство, а я усиленно работала.

Сперва мы жили в Пескаре на Адриатическом море: мой дом стоял так близко от берега моря, что по ночам был слы-

шен мягкий шелест прибоя. Но в августе с юга начал приближаться фронт, начались бомбардировки города. После первой такой бомбардировки, у меня в саду я своим собственным перевязочным материалом перевязывала раненых, их было 26 человек, а затем городские пожарные отвозили их в городскую больницу. В Пескаре погибло 1000 человек.

Нам пришлось опять покинуть свой дом и уехать дальше на север. Сперва мои родители приютились в русском католическом монастыре, а я с сыном три месяца жила в винном погребе знакомого крестьянина, но фронт еще ближе подошел к нам. В ночь под новый 1944 год мы на немецком военном грузовике, порожняком возвращавшемся с фронта, уехали на швейцарскую границу, к родным моего мужа. Ехали мы 9 дней.

Я снова должна была организовать нашу жизнь на новом месте.

В конце 1946 года мой муж вернулся из плена. Но 6 лет жизни в бездействии в бараках с раскаленной крышей на полметра над головой и с метром снега на той же крыше — зимой... полметра от постели до постели лишили его энергии... и в моей чудесной вилле в Альбицатте возле Варезе, где он застал нас, он продолжал пассивное существование «пленного».

Все мои увещевания, наконец — мой пример, что я работала с раннего утра до поздней ночи, не подействовали на него. В октябре 1947 года я потребовала от итальянского трибунала и получила «Сепарационэ легале» то есть я была свободна жить впредь отдельно от него. Сейчас же я начала готовиться к новой «эмиграции». Жизнь в Италии не удовлетворяла меня. 15 июня 1948 года я с сыном 17 лет и моими престарелыми родителями выехала в Пэру.

В Пэру от меня потребовали сдать при университете ряд экзаменов, чтобы оживить мои дипломы.

По-испански я еще не говорила, но один уже сдавший подобные экзамены врач ободрил меня, говоря, чем скорее я это сделаю, тем меньше знания испанского языка смогут от меня требовать.

Деканом зубо врачебного факультета был милейший доктор Саенц. Меня очень любезно приняли. Я предложила им

написать «Тэзис»-работу — нечто вроде диссертации о зубах Преколумбианских жителей Пэру.

Идея, предложить им эту тему, зародилась у меня, зная, что такое исследование было написано английским зубным врачом Элльот Смит (в 1907 году), о зубах древних Египтян. Узнав, что в Пэру такой работы еще не существует, все археологические музеи и частные коллекции открыли мне свои двери для этой работы. И я принялась за эту интересную работу.

Дома я принимала пациентов с раннего утра, во все годы моей деятельности, принимала их с 7 часов утра. Так было в Абиссинии, так было и в Пэру.

Для людей, занятых службой, это бывал единственный момент, когда они могли заняться своими зубами. Я чувствовала, что эти пациенты особенно ценили меня, а я ценила их. Это часто бывали доктора, учителя, миссионеры, банковские служащие, летчики — привыкшие рано вставать. Помню директора одной большой итальянской фабрики, который каждый раз приезжал сам как пациент и привозил с собой несколько своих служащих, чтобы они не теряли своего рабочего времени на лечение зубов. Так я работала часов до десяти, а потом уже принадлежала себе. Первые годы моей жизни в Лиме, я в этот час ехала в музей. Там, в отведенной мне комнате меня ожидала большая корзина (в каких прачки приносят белье) полная черепов, и я надев резиновые перчатки, начинала осматривать и описывать их зубы.

Весной 1951 года я представила в Университет СВ. Марка в Лиме к его 400-летнему юбилею мою работу, которая была принята с радостью, как первая на эту тему и с 42-мя иллюстрациями — рисунками, сделанными мною от руки и в красках. Напечатано было 14 экземпляров, таким образом мне пришлось нарисовать больше 400 иллюстраций.

Продав в Италии свою прелестную виллу, я сразу смогла купить в Лиме домик, в котором мы жили и тут же был мой кабинет. И опять потекла жизнь зубного врача. В Лиме по количеству было больше пациентов, но в Адис-Абебе работа была интересней с «финансовой» стороны: абиссинский серебряный талер всегда стоял хорошо, за два талера

мы получали один доллар, а в Пэру все время шло падение денег.

В Пэру на досуге я много рисовала, часто проводила воскресенья или большие праздники рисуя иконы или перуанские цветы. Пэру необыкновенно богато цветами. Кроме своего собственного сада, купить их не трудно: по пятницам с гор, и из «сиеры», приезжают десятки грузовиков, нагруженных цветами. Я часто в канун больших праздников возила нашего батюшку отца Серафима Фетиссова на Цветочный базар, и он покупал прямо с грузовиков цветы для украшения церкви. Сочные душистые туберозы, пакетами по 5—6 дюжин, левкой, ромашки, калагладиолы... Я привезла сюда альбом акварелей перуанских цветов, а там продала около сотни своих картин цветов, которые разошлись среди моих друзей и пациентов. Бывали забавные случаи. Так одна дама швейцарка из Пиуры — север Пэру, — лечила у меня свои зубы. Ей понравились мои картины цветов, висевшие в приемной. «Можно купить?» — спрашивает она. «Конечно, — отвечаю. — А что именно вам нравится?» «Да они все мне нравятся, а я завтра улетаю на аэроплане и мне важно, чтобы рамка не была тяжелой!» И мы с ней по весу выбрали две картины: белые лилии в широкой, но легкой раме и красные «фламбуайан» тоже в легкой раме.

Или, другая дама из Уругвая купила «на память о Пэру» мои «ландыши», нарисованные еще в Италии, так как в Южной Америке их нет.

Другая швейцарка прилетела с Огненной земли в Лиму отдохнуть от ветров в сухой и холодной пустыне, где ее муж геолог искал нефть, и почти со слезами на глазах жаловалась, что там нет ни одного цветка. Она купила себе в утешение две мои картины цветов.

Иконы в Пэру продавались не только как «художественные» произведения, а и как предметы «культа». Я имею в книге проф. Лосского об иконах запись, кому и какие иконы были проданы или подарены. Их около сотни осталось в Пэру, или, купившие их в Лиме иностранцы увезли их с собой в Европу.

Деньги от продажи икон я считала «случайными» и благодаря им я могла позволить себе, что-либо выходящее из

бюджета, вроде поездок в Куско (на развалины Мачу-Пикчу-прэнкайского города), где я побывала три раза по нескольку дней, а не только «взглянуть и уехать» как делают туристы. Или путешествия в Калифорнию к сыну, которые я могла целиком оплатить моей рождественской продажей икон. Частный зубной врач не имеет каникул, и если я уезжала, мне во-первых приходилось закрывать свой кабинет, а значит отказаться и от «прихода», затем надо было содержать всё хозяйство, двух слуг для охраны дома, садовника, собаку, оплатить путешествие, а по возвращении, опять заново начинать работу.

Всего этого не знают и не могут понять те, — кто работает на жалованьи. Я признаюсь, что за 50 лет исключительно «частной практики» я сделалась такой — какая есть теперь — материалисткой, я всё еще дорожу каждой минутой моего времени и не могу перейти на психологию «отставных», и всё еще стараюсь что-то создать, а мои 70 лет кажутся мне пустой цифрой!

Я хотела бы упомянуть еще об одном моем «увлечении», если можно перевести так слово «хобби».

Целью наших воскресных экскурсий в окрестности Лимы были древние Инкайские развалины и кладбища. И меня и моего сына вначале интересовали только: меня — как зубного врача — черепа со всеми их характеристиками, а моего сына, окончившего в Перу медицинский факультет старейшего в Новом Свете Университета Св. Марка в Лиме, кости со следами болезней или повреждений. Мы никогда сами не раскапывали ничего, а только бродя среди уже раскрытых искателями кладов могил, находили то, что было брошено ими, а для нас представляло интерес.

Меня занимали остатки пестрых тканей, в которые древние жители Перу заботливо заворачивали своих покойников. Сухой песок Перуанского побережья обратил в «мумии» их тела и предохранил от тления. Я начала собирать самые ткани и теперь имею 5 альбомов этих тканей, ожидающих еще своего применения.

За последние 20 лет мои родители оба скончались в Перу, а мой второй муж умер в Италии.

В сентябре прошлого года я покинула Перу и живу теперь в Сан-Диего, в Калифорнии, вблизи моего сына, хирурга-ортопеда.

Но я продолжаю рваться к продуктивной работе, а такой для меня оказалась иконопись.

Здесь меня приводит в отчаяние количество «прозаической» работы: чистка дома, уход за садом, кухня, мытье посуды (с одного человека), мытье белья, (тоже с одного человека), мытье автомобиля... в результате я могу спокойно рисовать только по вечерам, до полночи, а часто и больше, пока моя собачка — длинноухий испанский кокер, не напомнит мне, что пора идти спать.

Будем надеяться, что на этом «мои ЭМИГРАЦИИ» кончатся.

20 июля 1969 г.



Е. М.

МАТЬ

В моей долгой жизни, в молодые годы я близко видела и знала одну русскую мать. Звали ее Пелагея Савинкова. Она была — неграмотная женщина. Не умела ни читать, ни писать, но она бегло говорила по-французски. Не раз я ее расспрашивала, как она из крестьянской семьи, из Костромской губернии с Волги-матушки попала в Петербург? Откуда у нее французский язык? Говорила она по-русски плохо-вато. Длинное русское слово выходило у нее по-новому: Кинстантинополь, Свистополь. Особенно географические названия давались ей с трудом.

Восьмилетней девочкой она со своей матерью решила добраться до Питера, где жил ее отец. И так, не в санях с медвежьей полостью, а на открытых дровнях и на одной лошадке, присоединились они к обозу. Через две недели въехали в столичный город. Тяжелая весть ожидала их. Отец

после отъезда из Костромы обзавелся другой семьей. Из крестьянина он стал ремесленником — столяром.

Полю Савинкову мать устроила в одну французскую мастерскую. Там хозяйка мастерской говорила по-французски. Как-то Поля подала угольный утюг слишком горячим. Мастерницы неудачно разгладили новое платье. Хозяйка рассердилась, побила девочку и выгнала ее из мастерской. Собрала Поля свой узелок и пошла в Михайловский парк. Там на одной скамейке было место встречи с матерью. Сидит и плачет. Вдруг одна богатая барыня подошла к ней и сунула ей в руки пятак. Поля вытерла слезы, побежала за барыней, догнала ее, обратно отдала ей медный пятак и с каким-то горделивым достоинством сказала: «Я НЕ НИЩАЯ!»

Поля знала, что мать ее была кухаркой на извозчикьем дворе. Там не было места для девочки. Мать разыскала другую французскую мастерскую. Хозяйка оказалась доброй, не сердитой. А Поля стала стараться во всю: слова французские запоминает, всю мастерскую в порядке и чистоте держит, разное шитье наизусть выучила («зашивать, подшивать, петли метать» и прочие секретные стежки). Стала хозяйка посылать ее в магазины Гостиного Двора на Невском. А Поля свою собственную арифметику уже придумала: рубль — это 2 полтинника, 4 четвертака, 10 гривенников, 100 копеек. При покупках она на свой лад высчитывала быстрее чем приказчик со своим карандашом на бумаге.

К шестнадцати годам она уже была мастерицей на жаловании в несколько рублей в месяц. Вскоре научилась она, как быть закройщицей. Хозяйка доверяла ей «патроны» (образцы) лучших парижских моделей. Стукнуло Полине Савинковой уже 18 лет. Приглянулся ей один рабочий из ближайшей типографии. Погуляли они не раз, да и поженились. Стала ждать Полина своего первого ребенка. До его рождения решила она с мужем: «Откроем свою собственную мастерскую!» Размахнулись! Наняли барскую квартиру на Миллионной улице наискосок от дворца великого князя Владимира Александровича.

Танцевальный зал в барской квартире превратили в мастерскую; там было восемь окон! Большая гостиная была для

заказчиков. Там был диван с двумя креслами и круглым столом, на котором красовались модные журналы на французском языке. Еще одна просторная комната стала «Примеряльная» с большим зеркалом-трюмо! От пола почти до потолка! Здесь Полина Савинкова стала Пелагеей Леонтьевной.

Со всеми подробностями она любила рассказывать, как она начала свое дело. Первой заказчицей пришла к ней не то графиня, не то княгиня г-жа Княжевич. Принесла она золото-серебристую парчу для придворного приема во дворце. Пелагея Леонтьевна сняла мерку, назначила время примерки. Вдруг страшно ей стало, ведь патрона-то для сложного придворного одеяния у нее не было. Как же она будет резать полученный дорогой материал? Поплакала бедняга. Затем собралась с духом и решила: «Ничего не поделаешь! Надо самой сделать патрон!»

Всю ночь напролет ползала Пелагеюшка по полу, резала из бумаги, потом из кисеи, нужный ей до зарезу патрон. Потом прикидывала вырезанное на «манекен», прикалывала булавками, намечивала, чтобы точно получить размер богатой заказчицы. Стало уже светать, когда она увидела на манекене точный патрон, какой был во французской мастерской! Дрожащими руками она скроила из парчи придворную одежду. Утром дала сшить своей лучшей мастерице. Так началась созидательная — творческая работа молодой портнихи!

Без всякой рекламы приходили к ней богатые заказчицы (Милорадовичи, Стахевичи, Оноприенко, жены министров: Ванновского, Плеве и др.). Некоторые портреты их хранились у нее в серебряном фотографическом альбоме.

Часто она приносила в картонке, обшитой клеенкой, заказанные бальные туалеты. Кто-то из министров спросил ее: «А что наша ХУДОЖНИЦА принесла для завтрашнего бала?» Это слово «ХУДОЖНИЦА» вместо «портниха» доставляло Пелагее Леонтьевне громадное удовольствие. Действительно особенно ее бальные платья были такими воздушными, изящными. В них она вкладывала весь свой развитой вкус и «шик паризиев», всю свою душу в своей профессии.

В доме у нее была многочисленная семья. За время своего замужества она родила 14 детей: каждые два года по ребенку. Семерых она потеряла в их младенческих годах. Никаких прививок против дифтерита, скарлатины, тифа и других детских болезней не было. Муж Пелагеюшки перестал работать переплетчиком в типографии и в новом деле занял место вроде бухгалтера. В семье его главным делом было еще — лечить гомеопатией своих многочисленных детей.

Свои дети подрастали. Надо было подумать о средней школе для всех, а для мальчиков и о высшем образовании. Родители выбрали немецкую Анненшуле для мальчиков и Петришуле для учебы трех девочек.

Старший сын закончил образование в Технологическом институте, а средний блестяще выдержал вступительный экзамен еще и в Горный институт. Для девочек родители придумали нечто совершенно новое: сделать из них БАРЫШЕНЬ, воспитанных, образованных, а не девчонок бегающих босиком по Миллионной улице. Итак, сказано — сделано. В течение трех лет приглашались жить в доме сначала молодые немки из Курляндии, затем, на третий год, была приглашена гувернанткой дама, говорившая на французском языке. Она строго следила, как себя вести в обществе.

Можно удивляться всему этому в русской мещанской семье. Сколько в слове «мещанство» было презрения и унижения со стороны дворянского сословия! Несмотря на это почти все дочери и сыновья Пелагеи Леонтьевны породнились с дворянскими и даже аристократическими семьями. Старший сын женился на дочери предводителя дворянства в южной России. Другой сын, горный инженер, женился на девушке из хорошей дворянской семьи. То же самое случилось и с дочерьми.

Все три дочери получили значительную тренировку в богатом имении у «Бель-мер» (свекровь) старшего брата. Воспитание здесь было суровое. Не полагалось употреблять даже слово «спасибо»; требовалось сказать «мерси» и сделать при этом реверанс. Весь день был расписан по часам: чтение вслух Вольтера (его переписка с Екатериной II), какого-то романа на английском языке, затем игра в 4 руки из

оперы «Лючия де Ламмермур»; спорт требовал своего: верховая езда на дамском седле в костюме амазонки и т. д.

Удивительно, насколько Пелагея Леонтьевна обладала добротой, тактом и юмором. Все ее зятья и все невестки, все любили ее. Она без устали всех награждала своим вниманием и подарками прекрасно сшитой одежды. Особенно баловала она свою любимую дочку, которая вышла замуж за горного инженера и поехала за ним в Сибирь, как жены декабристов, в городишко Баргузин, и потом на золотые прииски в Забайкалье. Оттуда дочка выслала ей медвежьи ковры; приезжала навестить ее в имении Киевской губернии в 1917 году. Пелагея Леонтьевна считала идеи социализма и революции несправедливыми и нежизненными. Она считала, что ее упорная работа по 12—14 часов в день в течение 50 лет дала ей возможность дать прекрасное образование всем семерым ее детям. Вместо «сицилистов» она видела больше смысла «в кадетах» (так называла она Конституционных демократов). Однако идеи жен декабристов, их помощь мужьям она высоко ценила. Стихи Некрасова о декабристах она слушала со слезой. Идеи Толстого «служения и опрощения» были дороги ей. Она сумела сделать своих детей трудолюбивыми и трудоспособными. Для нее было большой радостью чтение ей вслух писем от любимой дочери: об устройстве где-то за две тысячи верст от Иркутска первого Детского сада для детей рабочих на одном прииске и открытии реального училища для детей рабочих и служащих на другом далеком прииске в Сибири.

«Ну, вот и хорошо, почти по моей дороге шла всю свою жизнь не только я, но и моя любимая дочка. Господь да сохранит ее в наше грозное время!» — были ее последние слова.



О. К.

К 75-ЛЕТИЮ Ю. А. КУТЫРИНОЙ—«СКАЗИТЕЛЬНИЦЫ»

Юлия Александровна Кутырина, неукротимая, с молодыми, сияющими синими глазами. Кажется, что она могла бы одолеть еще 75 лет, прожить вторую жизнь, столь же полную, столь же значительную.

Ю. А. Кутырина родилась в Москве, училась в Екатерининском институте, затем на Высших Женских Курсах, получила диплом на звание доктора естественных наук после государственных экзаменов при Московском университете.

Но музыка и фольклор властно влекут ее к себе. Она ездит по северным губерниям, Архангельской и Олонецкой, слушает народные песни, собирает сказки, былины, заговоры. Она становится знатоком русской народной сказки и русского эпоса.

Большой любовью к русскому прошлому овеяны выступления «сказительницы» Ю. А. Кутыриной. Они проникают в самую гущу, в самую сущность русской души. Как живые встают перед слушателями герои ее сказок. Заговоры полны завораживающей силы.

В 1918 году она пересекает Северный Ледовитый океан и едет во Францию, к мужу, Рэнэ Жантийому. Семь лет работает в лабораториях генерала Феррие.

В 1936 году Ю. А. Кутырина дебютирует в качестве сказительницы в программах парижского радио. Выступления ее сопровождаются большим успехом. Она передает, оформляя их соответствующей фольклорной музыкой, сказки великорусские, украинские, сказки Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана, сказки самоедов.

Ее обширная эрудиция в области эпоса не только русского, но и мирового, позволяет ей вскоре расширить программу своих передач, которые получили общее название «Легенды и сказки всех народов». Кроме того, в сезоне 1952—

53 гг. ею был создан новый, чрезвычайно интересный цикл — «Чудесное в музыке. Этот цикл был включен в постоянную программу радиостанции Пари-Интер. «Чудесное в музыке» — тема, которая может быть иллюстрирована произведениями почти всех великих музыкантов. Почти все они так или иначе испытывали на себе обаяние народного эпоса с его фантастикой, легендами, балладами. Нет эпохи, музыканты которой не откликались бы так или иначе на всё чудесное, волшебное, сказочное.

Начав с языческой мифологии древнего мира и перейдя затем к библейским преданиям, как и к великим легендам, Ю. А. Кутырина представила плееду классиков, романтиков и современных композиторов, богато и разнообразно отразивших мир фантастики. Особое внимание было ею уделено русской музыке. Широко и неоднократно были представлены Глинка, Мусоргский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Стравинский, Прокофьев.

Помимо цикла «Чудесное в музыке» Ю. А. Кутырина создала еще серию передач «Искусство и фольклор», посвященную народному творчеству всех стран и народов. Серия эта распалась на ряд отдельных тем: «Колыбельная», «Танцы», «Колдовство» и т. д.

Передачи Ю. А. Кутыриной были неизменно интересны и содержательны. Французское радио получает ежедневно сотни писем со всех концов света, но больше всего из французской провинции.

**
*

Ю. А. Кутырина не прекращает и научной деятельности. Два года подряд она читала доклады-лекции «Жизнь и творчество Шмелева».

Последние три года Ю. А. Кутырина работает во французском Национальном Центре Научных Исследований над литературным наследством И. С. Шмелева. Вышла уже 1-я книга, «Душа родины» (сборник статей), по микрофильмам, сделанным Кутыриной для аналитического каталога Литературного Архива Шмелева.

В личной жизни Ю. А. Кутырина — счастливая мать. Ее сын «Ивушка», как его называл И. С. Шмелев, теперь

профессор и автор книг по лингвистике, а муж, — поэт И. И. Новгород-Северский (ныне покойный). Она передавала по радио эмиссии о его поэзии Севера и его космической и мистической поэтике под заглавиями «К созвездиям», «Песнь песней», «Северное послание певца Ледяной Пустыни».

Низкий поклон юбилярше за украшение нашей жизни и за неустанный труд!



АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ

НЕУЖЕЛИ ПОВТОРИТСЯ ИСТОРИЯ?

«Люди с дикими криками, воплями, грохотом колес летят в пропасть, не слушая тех, которые хотят их спасти. А между тем, единственное, что они должны сделать, это остановиться».

Лев Толстой

Отец говорил: много всякой лжи на свете: политическая, религиозная, научная, но нет духовного руководства... И жизнь с телеграфами, телефонами, а в настоящее время надо добавить — с аэропланами, расщеплением, ракетами, телевизицией, — и ненависти людей друг к другу, живущих не духом Божиим, а животным инстинктом — становится всё хуже и хуже.

Сознает ли человечество, что оно летит в пропасть?

В суеете обыденной жизни некогда серьезно думать. «Ну, что волноваться, всё образуется, были люди плохие и раньше, существовал разврат, преступления. А теперь об этом больше пишут в газетах, говорят по телевизии! Нечего волноваться и расстраиваться!» А преступность растет, увеличивается потребление наркотиков, беспокойное настроение среди молодежи растет, сгущается, а настоящего здорового руководства нет.

А каких чудесных, вдумчивых, ищущих юношей и девушек я встречала, когда читала им лекции в университетах и колледжах! Какие серьезные, глубокие вопросы они мне задавали. Помню одного студента. Он ждал и подошел ко мне, когда толпа, которой я подписывала бесконечные автографы и отвечала на вопросы — разошлась.

«Как вы обрели веру? Скажите мне! Научите!» Сколько тоски было в его голосе, в лице этого юноши в его больших печальных глазах. Кто даст ответ на волнующие их вопросы? Мне трудно многое понять. Почему молитва запрещена в школе? Эта молитва, которую читали, могла бы быть провозглашена в любой церкви.

Почему? Ответ: потому что МЫ СВОБОДНАЯ СТРАНА, и мы не можем навязывать молитву молодежи, школе, родителям, детям. Религиозное воспитание детей — дело родителей. А если учителя, родители и сами дети хотят перед занятиями помолиться? Нельзя! Это нарушает закон, изданный верховным судьей.

На меня произвело сильное впечатление, во время моего пребывания в Японии, когда я посетила японскую начальную школу. Сопровождавший меня японец рассказал мне, что начиная с начальной школы и до университета — детям и юношам преподавалась мораль.

Мне показали в начальной школе книжку с картинками. Мне запомнились две: маленький мальчик у кровати больной женщины держит кувшин в руках, принес ей напиток; маленькая девочка с клеткой в руках, она выпускает птичку на свободу.

Затем, с годами, преподавание морали делается всё серьезнее и глубже и кончается изучением больших мировых философов, главным образом, восточных философов Конфуция и Лио-тзе.

Но это было давно. Может быть, в Японии все изменилось, извратилось, как во всем современном мире. Бунты, беспорядки, преступления, кражи, разрушения! Афро-американцы играют главную роль. Основной повод к беспорядкам — несправедливое отношение к неграм. Но как может такой вопрос кардинального значения быть полностью раз-

решен в такой короткий срок? Как можно искоренить в продолжении недель, месяцев, даже нескольких лет зло, которое продолжалось больше ста лет? Многое уже сделано по отношению к неграм, чтобы исправить ошибки прошлого. Неужели бунтовщики не понимают, что бунтами, насилием, грабежами ничего не достигнешь и что они только играют, может быть бессознательно, в руку коммунистов?

Бунтовщики требуют немедленного прекращения войны. А что случится, если будут немедленно уведены войска из Вьетнама? — Вся Азия перейдет в руки коммунистов! Не только Вьетнам, но и все небольшие страны в Азии будут захвачены коммунистами. Но никто не беспокоится о том, что 36 000 человек убито на дорогах в год.

Я считаю большим грехом различать людей по их национальностям и относится к ним по разному, в зависимости от цвета их кожи: черной, коричневой, желтой или белой. Все мы дети одного Отца — братья и сестры.

Но независимо от их рас, — мы должны положить предел тем, какого бы цвета они ни были, — революционерам, которые вносят ненависть, насилие и гибель в нашу страну!

В 1961 году промелькнуло в печати, в «Новом Русском Слове», что тысячи африканцев из разных стран были посланы в Советскую Россию и их сателлиты. Девять лет их «образовывали» в коммунистических странах. Они изучали марксизм и их готовили для коммунистической пропаганды в свободных странах. Возможно, что и Соединенные Штаты получили свою долю этих советских воспитанников.

Кто же их привез и почему их выпустили в США?

Журнал «Религия в коммунистических странах» пишет: «Борьба негров повлекла за собой студенческое движение в США. В прошлом году это движение захватило не только все университеты в этой стране, но даже некоторые средние школы. Впереди этого движения — черные студенты. Они упрямы, бесстрашны и храбры. Инициатором массовой забастовки, длившейся больше месяца, прошлой весной и четырехмесячной, только что прекратившейся забастовки в Сан Франциском университете, — были черные студенты, к которым присоединились белые. Эти культурные афро-

американцы помогают широким массам черных стряхнуть с себя всякие духовные влияния, которые внушаются капиталистами, и эмансипироваться. Ввиду ежедневно увеличивающегося стремления афро-американцев к борьбе, правящие классы поневоле прибегают к контрреволюционным мерам, стараясь ликвидировать афро-американское движение».

Вспоминаю, как трудно было привозить русских беженцев-невозвращенцев, которые уходили с родины не из-за материальных условий, а потому что хотели свободы. Пять, восемь, иногда десять лет эти люди прозябали в нищенских условиях, в грязных бараках без работы, ожидая восстановления их человеческих прав и позволения ехать в свободную страну — Америку. Эти люди не подрывали страну, которая давала им свободу. Наоборот, — они испытали рабство в Советской России, знали, что из себя представляет советский рай. Они старались познакомить американских граждан с ужасами советской действительности.

Кто преподает русский язык в университетах? Беженцы из России. Кто открыл легкий газ, который употребляется во время войны? — Профессор Ипатьев. Кто изобрел вертолет, который спас тысячи и тысячи людей на войне? — Сикорский!

Можно было бы назвать тысячи имен русских людей, которые принесли пользу США, — инженеры, доктора, техники, рабочие, фермеры, в которых мы так нуждаемся в настоящее время. Русские не боялись работы. Многие ученые, культурно-образованные люди, начали свою жизнь в США, зарабатывая гроши, работали в гаражах, мыли машины, посуду, работали на фабриках. Образованные дамы со знанием нескольких языков стали прислугами в богатых домах. Русские эмигранты, в большинстве принявшие американское гражданство, стараются быть полезными Америке, употреблять свои способности, свой ум, посланный нам Богом — на что-то полезное, а не на разрушение ума, тела и — своей страны!

Хиппи! Я видела их на экранах телевизоров и забыть их не могу! Юноши с длинными волосами — летом, в жару, с нечесанными бородами, странно одетые. Некоторые си-

дели на земле, другие полулежали, без движения, с тупыми отсутствующими лицами — одурманенные или пьяные? Некоторые кричали, танцевали или бесцельно ходили взад и вперед; тут же между ними болтались маленькие дети, еще не твердые на ногах, двух-трех лет. Чьи они? Кто заботится о них? Что это? — кошмар или жуткая действительность? Я старалась забыть, не думать... И затем я увидела их снова, — когда было собрание молодежи в Лейк-Вудсток.

Миловидная девушка с длинными болтающимися по плечам белокурыми волосами, в очень короткой юбке двигалась как механизированная кукла, без оживления, без грации — одна. Что это? Трудно было поверить, что она танцует. А затем появился почти голый человек. Длинные нечесанные волосы сливались с рыжею бородой. Противно было смотреть на это дряблое, безмускульное тело, белое, незнающее загара и работы. Он шел очень медленно, склонив вперед свое слабое анемичное туловище. Казалось ему всё надоело — он устал...

Но зачем я на всё это смотрю, чтобы опять не спать ночь, чтобы опять думать, думать без конца о нынешней ненормальной жизни? Многие мне непонятно. И как я не старалась, чувствую, что понять не могу. Может быть потому, что мне пошел 86 год?

Безработица? Но почему же все газеты полны объявлениями, что нужны работники во всех областях? Я позвонила в контору по приисканию работников, и просила дать мне несколько рабочих. Женщина, заведующая конторой, рассмеялась. «Рабочих? у меня нет». Но я настаивала: «Мы хорошо платим, и труд не тяжелый». «Вы слышали, что я вам сказала, у меня нет никого. Все хотят чистой работы!» — и повесила трубку.

Я прибыла в Америку в 1931 году, когда была настоящей безработица. Что делать? Я засучила рукава и шесть лет проработала на куриной ферме. И была очень довольна и счастлива. Работники на ферме нужны и теперь. А бунтовщики орут на всех площадях о миллионах безработных, о страшной бедности, эксплуатации, отсутствии свободы. Я слышу эти выкрики молодежи, их лозунги, которые они выкрикивают, и мне страшно!

Бедность, голод? А знают ли они, что такое бедность, голод? Ели ли они когда-нибудь картошку жареную на касторовом масле или на рыбьем жиру? Ели ли они хлеб, которым питались целые деревни во время революции в России, когда крестьяне прибавляли молодые жёлуди в муку, ели и благодарили Бога, что еще живы.

Страшно было смотреть на детей, красивых девушек и юношей. Улыбнутся, а зубы черные, как сажа, от жёлудей. Да, это был голод. Прошло более 50-ти лет с начала революции, и сейчас во всём — в пище, в одежде — недостатки в Советской России.

«Мы наш, мы новый мир построим», «Мы сами будем управлять нашими учебными заведениями», «Мы хотим поправить ошибки прошлого!», «Мы требуем окончания войны!»

Ох, как всё это мне знакомо! Но почему меня это так волнует? Почему меня преследуют мысли о будущей судьбе этой прекрасной страны? Я не могу спать «мысли, как черные мухи, не дают мне покоя». Полночь. И время ползет так медленно. Где-то часы-кукушка отмечают время — час ... два ... три ... я стараюсь уснуть, но сна нет.

Почему? Почему в душе так тревожно? Неужели повторится История? Почему мне страшно? А потому, что я всё это пережила, потому что я уже слышала все эти лозунги, более полвека тому назад в 1917 году, когда Россия была на краю революции. Началась она с забастовок, бунтов, никто не хотел работать, рубль упал, цены выросли, увеличилась преступность, религия потеряла всякое значение и перестала руководить народом, увеличилось число пожаров, крушений поездов; воровство, грабеж в больших городах. И тогда, как и в настоящее время, никто не признавал, не понимал серьезности положения.

Жизнь шла своим чередом. Дума разглагольствовала, богатые люди развлекались, революционеры агитировали, крестьяне работали. А черные тучи надвигались, сгущались, становилось душно. Где-то вдали громыхал гром. Но люди не видели, не верили, что надвигается гроза. Страшное бедствие постигло Россию. Она первая пала жертвой интернационального коммунизма.

Свободные страны утешаются тем, что Советский Китай и Советская Россия — враги. Я никогда этому не верила. Когда-то Хрущев сказал, когда ему задали вопрос: «муж и жена могут ссориться, но это не значит, что они разводятся».

Мы в России тоже не верили, когда коммунисты захватили власть, что это продлится долго. Все были уверены, что это временное явление — два-три месяца и кошмар кончится. Здесь теперь бунтующая молодежь не понимает и не видит опасности. Люди не сознают, что живут в лучшей стране во всем мире. Свобода, больше еды, чем они могут съесть. Государственная помощь больным, вдовам и незамужним женщинам с детьми, великолепные колледжи и университеты с лабораториями, планетариями, библиотеками, гимнастическими залами, громадными аудиториями.

Представляют ли себе эти молодые люди жизнь юношества за железным занавесом, где нет свободы, где многие живут впроголодь, где студентам приходится иногда идти версты, чтобы попасть в школу или университет? Представляет ли себе бунтующая молодежь, что она затягивает петлю на шее советской молодежи, выехавшей из СССР? Кого она поддерживает своими забастовками и бунтами? Молодежь за железным занавесом или ее поработителей? Неужели они не знают о положении русского народа? Неужели они не слышали о писателях Андрее Синявском и Даниэле, приговоренных к 4 и 5 годам тюремного заключения, Ю. Галаскове, приговоренном к 9 годам тюрьмы, генерале Григоренко, только что посаженном в сумасшедший дом, о Солженицыне, исключенном из Союза писателей? Неужели они не читали его книгу в «Круге первом» и другие его произведения, повествующие об ужасах советских концлагерей?

В то время как сытые, здоровые, свободные студенты бунтуют в свободных странах, студенты, поэты, писатели, научные работники, рискуя жизнями, борются со своими поработителями за свободу. Мне не понятно: что эта бунтующая молодежь сочувствует коммунизму или же сочувствует тем, которые готовы пожертвовать жизнью за Свободу? Ведь только вера в Бога помогает мученикам переносить заточение в тюрьмах и сумасшедших домах.

Вот что пишет молодой многообещающий поэт, верующий и открыто носящий на шее крест:

«Нелегкая нам дорога
И бесконечен срок.
Но мы обретаем Бога
И нас обретает Бог».

А вот выдержка из стихотворения Евтушенко — талантливого, но запутавшегося в своем двойственном положении: боязни преследования, с одной стороны, и требования совести и Богом посланного, — с другой:

«Когда шагаешь к цели бойко
Как по ступеням, по телам,
Остановись, забывший Бога,
Ты по себе шагаешь сам.

О, человек, чье имя свято,
Подняв глаза с молитвой ввысь,
Среди распада и разврата —
Остановись, остановись!

Можно было бы привести сотни стихотворений и выдержек из советской литературы, где поэты и писатели не только явно протестуют против советской власти, но активно с ней борются и готовы страдать за свои убеждения. Вот выдержка из стихотворения поэта Н. Нора:

«Пускай нас мало! Пускай мы слабы
Но постепенно нас станет больше.
И мы подточим гнилые доски
Харчевни нашей, где мрак и холод!»

Пускай нас мало!
Мы ждем, мы верим!
Пусть мы погибнем!
Наш час настанет!»

Эти люди борются, они готовы пожертвовать своей свободой, может быть жизнью, за Свободу России. Вот отрывок из стихотворения Ю. Гланского:

«Это — Я,
Призывающий к правде и бунту,
Не желающий больше служить,

Рву ваши черные путы,
Сотканные из лжи.

Это — Я,
Законом закованный,
Кричу человеческий манифест!
И пусть мне ворон выклевывает
На мрамор тела
крест!»

Из приведенных стихотворений ясно, чего хочет молодежь, видные писатели, поэты, религиозные люди в России — СВОБОДЫ! А чего хочет бунтующая американская молодежь в колледжах? Кто ее ведет? Может быть мы найдем ответ в «Бесах» Достоевского, где революционер Верховенский совершенно ясно и четко излагает программу социализма: «В мире только одного недостает, — говорит Верховенский, — послушания. Жажда образования есть жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос: мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Всё к одному знаменателю, полное равенство... У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность...»

«Слушайте! Я их всех сосчитал, — продолжает Верховенский. — Учитель, смеющийся с детьми над Богом и над их колыбелью — уже наш. Адвокат защищающий образованного убийцу — уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущение, наши. Присяжные, оправдывающие преступников, сплошь наши. Одно или два поколения разврата теперь необходимо, разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь — вот чего надо! А тут еще «свеженькой кровушки», чтобы попривык!»

Разве это не напоминает 1917 год?

И как мог наш великий писатель Достоевский, более ста лет тому назад, устами Верховенского так верно изложить программу коммунистов, которая теперь так успешно проводится тысячами советских агентов во всем мире.



А. В. ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС

(К столетию со дня рождения)

В ноябре этого, 1969 года, отмечается столетие со дня рождения Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс.

Эта выдающаяся русская женщина была замечательна разнообразием своих интересов и бурной внутренней энергией, которую она умела блестяще проявлять в жизни. Ее привлекало всё живое, красивое, талантливое, вдумчивое. У нее был особый дар привлечения к себе людей всех поколений, к ней шли старые и малые, за советом и утешением. При этом, несмотря на свою исключительную яркость и талантливость, она отличалась большой внутренней скромностью и всегда недооценивала себя.

Она любила людей и всегда, при всех обстоятельствах, была готова прийти им на помощь. Внутренняя честность, независимость и острое чувство справедливости были ее отличительными чертами. Общественная деятельница и писательница всегда может ошибаться, но у Ариадны Владимировны было достаточно мужества признаваться в своих ошибках, когда она находила, что совершала их. Прожила она долгую жизнь — родилась в Петербурге в 1869 году и скончалась в Вашингтоне в 1962 г., написав свою последнюю блестящую статью о Толстом, в девяносто лет.

В тридцать пять лет ей пришлось эмигрировать, так как она была приговорена судом к двум годам тюрьмы за попытку провезти из Финляндии нелегальный журнал либерального направления — «Освобождение».

По возвращению в Россию в ноябре 1905 года в ней точно прорвалась какая-то внутренняя литературная, общественная и политическая энергия. Поселившись в своем городе, Петербурге, она сразу стала писать статьи в большой газете «Русь», оцененные и редактором и читателями.

Друзья либерального лагеря втянули ее в политическую работу. Она была участницей съезда, на котором организовывалась конституционно-демократическая партия (кадетская). Первое ее публичное выступление было в защиту женского равноправия. Она выступала на этом съезде с возмущениями Милюкову и татарину Акчурина. Милюков заявил, что не следует представлять права голоса невежественным крестьянкам. Ариадна Владимировна вскипела, что она умела делать когда сердилась, и выразила сомнение, что мужики более просвещены чем бабы. Акчурина она ответила, что не русские женщины должны равняться по бесправным татаркам, а татарские женщины должны подняться до уровня русских женщин.

Она была выбрана в Центральный Комитет Конституционно-демократической партии, в котором и осталась единственной женщиной до самой революции.

Через шесть лет она уже редактировала в Петербурге ежедневную газету «Русская молва». Некоторые лидеры кадетской партии считали эту газету слишком правой и поднимался даже вопрос об исключении Ариадны Владимировны из ЦК.

За эти годы, между 1906 и 1914, ее деятельность бурно развивалась во многих направлениях: она писала в газетах, давала впечатления о заседаниях в Государственной Думе, писала рассказы в журналах, выпустила несколько романов («Жизненный путь», «Ночь», позже «Добыча»), ездила по всей России с лекциями о современной литературе и о женском вопросе. Она принимала большое участие в женской организации требовавшей предоставления равноправия женщинам. К этому же времени относится ее первый исторический труд — «А. П. Философова и ее время». Философова была известной деятельницей по содействию женскому образованию.

Во время первой войны Ариадна Владимировна побывала на фронте, работая в санитарном отряде, и почувствовала, что такое война и как осторожно надо относиться к государственной машине в действии.

В течение первых нескольких дней Ариадна Владимировна радовалась февральской революции, но эта радость

быстро превратилась в глубокую тревогу за армию. В самом начале она поняла, что ее друзья, кадеты, не понимают, что значит управлять страной, да еще такой большой как Россия.

Кадетская партия выставила ее кандидатом в Учредительное собрание от двух губерний, своей Новгородской и Екатеринославской. Считается, что она не прошла, но с точностью нельзя это утверждать, так все выборное производство было уничтожено большевиками.

С момента захвата власти большевиками она считала, что с ними необходимо бороться вооруженной рукой. Через ее петроградскую квартиру прошло немало беглецов к Каледину и Корнилову. Она прочно связала себя с Белым движением.

Ариадна Владимировна была женой замечательного англичанина (новозеландца) Гарольда Вильямса, или по-русски Гарольда Васильевича, корреспондента английских газет в Петрограде, филолога знавшего несколько десятков языков, а главное, человека очень высоких моральных принципов — настоящего праведника в жизни. Они легально выехали из Советской России в марте 1918 г. У Вильямса в Англии было имя большого знатока России и по приезде в Лондон они оба писали, говорили, убеждали англичан в необходимости помощи белым армиям. Свидания с людьми, разговоры, писания статей отнимали у Ариадны Владимировны много времени, но всё же ее внутренняя энергия была так велика, что она в первый же год приезда в Англию написала книгу, в которой показывала, что представители революционной демократии способствовали захвату власти большевиками.

Вильямс сделал в Англии большую журналистическую карьеру, закончив жизнь иностранным редактором «Таймса». Это создало ему и Ариадне Владимировне положение. Она оказалась одним из центров в Европе для русских беженцев. С начала 20-х годов она возглавляла Общество помощи русским беженцам (вне Англии), и делала много для них, как в отношении материальной, так и всякой другой помощи. Дом Вильямсов превратился в место встречи для русских с англичанами и стал одним из центров информации о России.

Ее муж умер в 1928 году, что было большим ударом для нее, но она устояла. Еще при жизни мужа она написала первый том своего капитального труда, «Жизнь Пушкина». Второй том был закончен уже после его смерти. Над ним она работала почти одновременно с писанием по-английски биографии своего мужа, которая вышла в 1935 году.

В тридцатых годах она начала писать статьи для рижской газеты «Сегодня», касаясь всех сторон английской жизни, от детских праздников до церковных дел. В начале тридцатых годов, вместе с российским дипломатическим представителем Е. В. Саблиным, она провела кампанию среди русских эмигрантов по сбору подписей протеста против рабского труда в СССР, собрав более ста тысяч подписей.

После второй войны, вместе с семьей сына она переселилась в Америку. С годами она все больше и больше углублялась в православие. Ее лондонский дом превратился в место встреч православного и англиканского духовенства.

В 1931 году она писала своему сыну: «Утром провела полтора часа в церкви. Конечно, самый скучный, бледный, неуклюжий христианский священник, если только мерцает в нем вера, мне сейчас ближе самого блестящего неверующего социалиста».

Бог вознаградил ее глубокой верой.

«Стоишь у обедни, как гость в доме Господнем», — писала она сыну в 1934 году.

Книга о ней — «А. В. Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына» — написана ее сыном — Аркадием Борманом.



ОЛЬГА ДЕ КЛАПЬЕ

(Некоторые биографические сведения)

Родилась в Киеве, окончила Киевскую Фундуклеевскую гимназию. Училась на филологическом факультете в Сорбонне в Париже и на Высших Бестужевских курсах — три

года. Одновременно училась живописи в Москве, Киеве, в Париже, около пяти лет. Первая самостоятельная выставка в эмиграции — в Софии. Картина куплена для музея, а также две для Пражского. В течение 25 лет выставляла в Париже на государственных выставках и на двух международных (в 1925 и 1937 гг.). Театральные декорации и костюмы. Археологические поездки художников на раскопки для Византийских изданий.

С 1953 года в Испании. За это время десять самостоятельных выставок в Мадриде и Барселоне, художественное самоиздательство моих картин, посвященных женщине. Вышла только что ее книга: «Женщины трагической судьбы», нумерованное издание, 23 репродукции в красках. Цена 45 американских долларов. Готовится к печати вторая.

Всего 100 экземпляров, 25 репродукций. А также две выставки. Сотрудничаю в «Русской Жизни», где поместила четыре романа и около 50 корреспонденций, рассказов и литературных критик. Мои произведения печатаются тоже и в ежемесечнике «Возрождение (Париж)».

Всю эмиграцию жила исключительно на мои профессиональные доходы и продолжаю жить также и теперь.

ДЕНЬ В ПАРИЖЕ

Мне 18 лет и я в Париже! Первый раз в жизни живу самостоятельно и, наконец, могу целый день рисовать! Когда я иду по парижским улицам, то с трудом удерживаюсь, чтобы не танцевать и, смеясь, в два прыжка не перебежать через улицу, входя в Люксембургский сад.

Какой день удивительный! Сиренево-серебристый. День, вероятно, был промозгло-туманным, но мне он кажется бесподобно прекрасным. Мимо бассейна, где дети пускают кораблики, мимо статуи Жорж Занд в кринолине и с пышным бандо. Еще надо перейти светлый Бульвар Сен-Мишель, и я у входа в музей Клюни. Со мной альбомчик. Как мало Клюни похож на музей — и снаружи, и внутри! Это особняк XVI века, в котором, наверное, поколениями жила чья-то семья и оставила немало воспоминаний.

Вот собрание рапир и кольчуг, у самой лестницы, а наверху в галерее, залитой светом, кто-то любовно собирал золотистые провансальские блюда. Темные деревянные, черного дерева, резные потолки, створчатые в витражах окна. Ах, это, наверное, была комната дочерей; в ней сохранился какой-то аромат юности, а в витринах лежат скромные, ага-товые и янтарные ожерелья и камеи. За стеклянной прозрачной дверцей шкафа плотно повешены парчевые и атласные роброны.

Но чем заканчивается каждое посещение Клюни? Это коронами Готских королей. Это массивные венцы из темного, почти синего, металла; в них вделаны и сияют огромные нешлифованные камни, точно мазки красок на палитре. Читаю, в который раз, объяснения, как и где они были найдены, не так давно. Это гордость Клюни. Знатоки — специалисты, исследователи — ради них приезжают в Париж. Зарисовывают наскоро в альбомчики. Взглянув на часы, спешу наискосок через площадь, мимо статуи Данте, в Сорбонну... Буду слушать лекцию, с иллюстрациями на экране, о Версале. Ее читает профессор Лемонье, и постепенно из планов, вычерченных строго прямолинейно, вырастают дворец и парк короля-солнца. Тщательно записываю.

Конец лекции. Скорее опять через Люксембургский сад, уже сумеречный. Плитка шоколада съедается на ходу, нет времени для чаепития, — в пять с половиной часов вечерние наброски в моей школе. Я учусь в Академии Гранд' Шомьер. Я сегодня уже была на утренних занятиях от 8-ми до 12-ти часов, с моделью, писала, стоя за мольбертом. Я самая младшая в классе, я одна — «начинающая», остальные — ой-ой! лауреаты академий у себя на родине: в Стокгольме, в Мюнхене или Флоренции, в Париж приехали «совершенствоваться», — с моей точки зрения они уже старые, им по 25 лет и больше.

Вначале я очень стеснялась своего неумения, неопытности, но все мои соученики и соученицы, нас 15 человек в мастерской, очень хорошо ко мне отнеслись. Каждый учит и помогает разобраться с малознакомым материалом. У меня огромная палитра и большой холст.

Профессор испанец держится того мнения, что щенка надо бросить в воду, он побарахтается и поплывет. Так он

поступил со мной, и действительно, очень скоро я стала крупными мазками лепить на полотне освещенную рефлекторами итальянку-модель.

— Хорошо, хорошо, — бормочет он, — главное не бояться действительности...

После четырех часов письма приятное изнеможение. Спешу домой. Я живу во французской семье, совсем близко от школы. Моя хозяйка была шесть лет гувернанткой в России, но по-русски не выучилась. Старшей дочери, Жермен, 15 лет. Она еще учится и одну ее никуда не пускают, а со мной можно. Я считаюсь взрослой. Сегодня мы с ней идем вечером в Комеди Франсез смотреть «Андромаху» Расина. А сейчас надо скорей добежать до школы.

В коридорчике, на сквозняке, при входе сидит мадам Роз и проверяет или выдает новые билетки на вечерние занятия одновременно в четырех классах. Выдаются разные входные билетки, по два франка за сеанс. У нас, действительных студентов, постоянные карточки. Мадам Роз зорко следит, не прошел бы посторонний студент. Взгляд у нее ястребиный и обмануть ее невозможно. Повязав уши черной вязанной косынкой, другая на плечах, высокая, костлявая, седая, она прекрасно знает, кому надо сказать «мосье», а кому «мон гарсон». Говорят, что на дверях, ведущих за кулисы Мюзик-гола «Зигфилд-фоли», один из владельцев, братьев Шуберт, написал: «Самые красивые женщины в мире прошли через эти двери», а на дверях Гранд Шомьер можно смело повесить надпись: «Самые знаменитые художники в мире прошли через эти двери». Да, вот эти самые, мимо мадам Роз, и взяли у нее входной билетик!

Во время Дягилевского балетного сезона я видела Серова, Бакста и Ларионова. Туда забегал Кислинг, Модigliани и Бурдель и Фужита.

Так удобно было внутри: на эстраде стоит ярко освещенная модель во всех четырех мастерских. Поза — 15 минут, поза — 5 минут, а иногда поза целый час. Человек пятьдесят набивается в класс, сидят на полу (кому нужен ракурс) сидят на табуретках, стоят положив альбом на плечи приятеля, но все молчат, тишина полная, курят. Натоплено до отказа. Трубы в печках накалились и покраснели.

За мое долголетнее пребывание в Париже Монпарнас переживал несколько раз расцвет и упадок. Менялись профессора, художественные направления, волна учеников разных национальностей, но мадам Роз была бессменна и бессмертна. В конце тридцатых годов моя падчерица училась в Гранд' Шомьер, а мадам Роз так же сидела на сквозном ветре на пороге, зорко следя за входившими.

Спешу домой на обед. Кажется урожай был хороший: я сделала двенадцать набросков «на скорость» и один большой. Дома обед был вкусный и веселый. Приходят столоваться племянники хозяйки, ученики архитектурного отделения Боз/ар, швейцарцы, благовоспитанные мальчишки. Но сегодня не до болтовни, мы спешим поесть, переодеться и доехать вовремя до театра. Билеты у нас уже в руках.

С каким благоговением я вхожу в этот «Первый французский театр»! Я знаю, что Андромаха постановка самого Расина, так же, как «Мизантроп» Мольера, и с тех пор каждый новый актер «вступал» в ту же постановку, продолжая традицию. Только тут я оценила и полюбила Расина. Я довольно хорошо знала Софокла и Эврипида, пережив в 15 лет страстное, всепоглощающее увлечение античностью, и когда у Расина Гермiona говорит Андромахе: «ВУ» и «Мадам», мне делалось как-то не по себе, но это в чтении, и в России, Здесь, в этом театре, который начался придворным Версальским, иначе правда нельзя сказать, нельзя быть иной, чем этой прекрасной статуей, задрапированной в муслин и парчу. А голоса? Эти модуляции! Мы далеки от разговорного реализма и от декламации. Думала ли я тогда, смела ли мечтать, что когда-нибудь, и, еще совсем молодой, войду я в эти двери, что с улицы, мимо ложи консьержа, ведут они за кулисы. Я подымусь по лестнице с папкой проектов декораций и костюмов для «Цирцеи». По моим рисункам шьются костюмы в мастерских и делаются парики. Я придумала голубые волосы для Цирцеи и костюмы из морских водорослей. Ее играет знаменитая артистка и красавица. Я сижу в ее уборной, которая раньше принадлежала Сарре Бернар. В этом театре-музее, где фойе артистов украшено гобеленами и подлинными картинами старых мастеров, я иногда встречаю артистов, гастролировавших когда-то в Петербурге. Меня останавливают пожилые актеры:

— Вы русская?? О, как я рад! Я играл два сезона в Михайловском театре. Заходите ко мне в уборную, жена тоже артистка, хочет с вами познакомиться. У нас есть фотография Невы!!

Здесь динамичный театральный деспот, Виктор Гюго, ставил и «Эрнани» и «Рюи Блаза». Но видимо, я не до конца «театральна» — я боюсь сцены. Когда на репетиции поднимают занавес и холодом тянет из темного зала, — мне просто страшно! Но тогда, в мои 18 лет, ученицей, я была далека от честолюбивых мечтаний будущего.

После спектакля нам надо было поскорее по метро вернуться домой. Завтра требуется встать в семь часов утра, а в восемь начало класса. Горячий кофе с круасаном меня подбодрит. Завтра все дневные часы посвящены Лувру, до четырех часов. В Лувре в то время не было электричества.

Опять ташу с собой Жермен. Она парижанка. До моего приезда она ничего не видела. Матери некогда. Через какие двери мы войдем в Лувр? Главные Тюльерийские? Там монументальная лестница. С верхней площадки летит нам на встречу «Самотракская победа». Ее легкость, стремительность, даже для античной Греции — единственна. Каждый зал музея имеет для меня свои магниты. Вот «Молчание» Беллини и «Источник» Энгра, а вот «Брак в Канне» Веронезе. Огромный холст плохо освещен и плохо повешен. С тех пор его много раз перевешивали, но лучше не стало. Ему, этому полотну, нужен венецианский дворец, итальянский лучезарный свет, роскошь морской республики. Дальше, дальше... Трещат старые паркеты, Лувр слишком нагрет. Бедные люди приходят погреться у решетки парового отопления. Лувр был когда-то бесплатным.

Вот в вестибюле две фрески Боттичелли, «Виллы Леми», а вот мечтательный юноша (голова), автопортрет Рафаэля. Романтизм обманчив. Рафаэль далеко не мечтатель, он деловой человек, и один из величайших композиторов, умерший так рано, в 36 лет, из-за невежества докторов. Итальянской школы не так много в Лувре. Завернем направо, где французская живопись. Мимо Энгра и Делакруа я спешу к любимой картине — к «Олимпии» Манэ. Несмотря на мою тогдашнюю молодость, я поняла гениальность этой картины

и ее магнетизм. Пройдя Большую галерею, мы выйдем из музея через другие двери, чтобы пройти через зал, где коллекция Луи Ласказ'а. Она собрана и пожертвована дочерью Лессепса, строителя Суэцкого канала. Там на правой стене несравненный «Жиль» (Пьеро), там Фрагонары и Антуан Вестье.

В 1920 году, эмигранткой, я вернулась в Париж моей юности. Едва свалив багаж, я бросилась в Лувр и получила разрешение скопировать из коллекции Луи Ласказ'а одну картину. Мечта каждого ученика обязательно написать копию старого мастера. Это особый стаж, проверка себя. Впоследствии я писала портрет внучки Лессепса. Она горевала, что собрание ее деда всё еще закрыто для публики, но Лувр ремонтируется очень основательно и медленно.

Мы выходим по настойчивому звонку и призыву, нарастающему, сторожей: *on ferme... on ferme!*

Доходились до полного изнеможения. Мы вышли в «тыл» Лувра. Напротив церковь Сен-Жермен д'Оксерруа, ее колокольни прозвонили сигнал для Варфоломеевской ночи. Сколько исторических воспоминаний оживает на каждой перекрестке Парижа!!

Жермен, притихшая в музее, «оживляется». Она не была бы парижанкой, если бы не знала наизусть больших магазинов. Нас сразу обдает теплом, запахом духов — косметический отдел прямо у входа. Сегодня моя хозяйка получила каталог магазина с заманчивыми иллюстрациями. Жермен, ловко лавируя ведет меня в отдел «парюр». Золотистые, серебряные шарфы висят в этой витрине. А без этой вышитой бисером сумочки я безусловно не могу прожить больше одной минуты! Покупаю шарф и сумочку. В конце концов мне только 18 лет и я, в первый раз в жизни, одна в Париже!



ИРИНА САБУРОВА

Если начинать автобиографию с первого произведения, то это было в 1923 году и называлось оно «Рождественский эскиз». В течение следующих десяти лет я работала как сотрудник и переводчица в разных журналах и газетах. С 1933 года редактировала еженедельный журнал, процветавший до первой советской оккупации Балтики.

После войны, в Германии, вышел сборник рассказов «Дама Трэф», «Королевство башен», сборник стихов «Разговор молча», фантастический роман «После» и большой роман «Корабли старого города», переведенный на немецкий и испанский языки. В Америке вышла книга-альбом «Бессмертный Лебедь» («Анна Павлова»).

На жизнь зарабатываю переводами — знаю четыре языка, кроме русского.

Пережила две мировых войны, два бегства, несколько гражданских революций, оккупаций и рухнувших миров, после чего приходилось начинать всё сначала. Вот и всё.

СМОТР РЕВОЛЮЦИИ

(Немного биографии)

Бабушка моя, Селестина Александровна, по мужу баронесса Девель, дамой была высокой и полной, «гранд дам», можно сказать. Поседела она рано, в двадцать семь лет, от испуга, белая вся, а всё еще в старости — ни морщинки. А глаза — добрые бабушкины глаза, цвета затонувших фиалок — в молодости не раз служили причиной дуэлей. Но под старость, в особенности после смерти деда, всецело предалась своим любимым занятиям: садоводству, устройству любительских спектаклей и обучению грамоте всех окрестных мальчишек.

Иногда бывали курьезы: новый губернатор, заехав в наш городок, счел, конечно, непременным долгом представиться «генеральше». И встретил бабушку на беду в саду, после ужасного ливня. Бабушка, в армяке и высоких сапогах, подрезывала деревья огромнейшими ножницами, распоряжалась, где рыть канавки для стока воды, и на вопрос губернатора:

— А где тут, матушка, ее превосходительство? — она проводила губернатора в дом, куда сама прошла потом через кухню.

Переодевшись в любимое свое коричневое платье с черными разводами — платье из шелка толщины непомерной и надев свои традиционные уральские аметисты, она выплыла в гостиную.

Впрочем, конфуза не было — губернатор потом сам с увлечением рассматривал взрощенный под небом французский чернослив и тридцать восемь разных пород на птичнике, до белых павлинов включительно.

Относительно не павлинов, а птиц: когда бабушка ездила в губернский город — часа четыре езды от нас по железной дороге, на два-три дня к дяде Пете, то с собой, в особых клетках, брались любимые цыплята или куры. И потом, через город происходило шествие на нескольких пролетках: сперва пара догов или волкодавов, потом клетки с орущими цыплятами, а за ними — бабушка и я.

С этим же дядей Петей бабушка не пропускала ни одной выставки садоводства и птицеводства — ежегодно физиономия птичника и сада изменялась! Появлялись новые фавориты.

**
*

В этот год, девятьсот семнадцатый, больше всего бабушку занимала политика. Еще при жизни деда был заведен порядок: выписывались все без исключения газеты и журналы, выходившие в России. Дед мой, швед по рождению, но русский генерал и русский по воспитанию и по всей жизни — был большим либералом. С родственниками при дворе отношения были довольно натянутыми: «тянуться, выслужи-

ваться не люблю». Бабушка была либералка — предмет нескончаемых споров с дядей Петей. Спорили они так: вечером, после трудового дня, приносился огромный самовар, собирались все газеты и прочитывались. Потом самовар пустил, вносился второй — и начинались споры. От самовара валил пар, от них тоже, и спорили они часов до трех утра, до хрипоты, до усталости. Милюков, Гучков, Дума... война, Распутин. Просыпаясь иногда ночью, слышала я дикие крики, но на утро они опять были друзьями — до вечера.

Дядя Петя только что вышел из госпиталя — потерял на войне руку и взял пока отпуск. Газеты становились всё тревожнее с каждым днем. Помню, как бабушка искренно уверяла, что иногда в заголовке «Русского Слова» в больших этих черных буквах, появляются маленькие белые цифры — и именно они свидетельствуют о политическом настроении данного дня. Своего рода масонский знак. А потом уже не белые цифры — потом стали вымарывать целые колонки-столбцы речей. Речь Милюкова, например, в Государственной Думе и вместо нее сплошное белое место.

Тревожными становились и вечера. И вот однажды — как сейчас помню — огромная комната, лампа, самовар, как всегда. Дядя Петя садится к столу и раскрывает газету. Бабушка в нетерпении заглядывает ему через плечо, и оба вместе, каким-то странным чужим голосом читают вслух: «ОТРЕЧЕНИЕ НИКОЛАЯ ВТОРОГО». Огромными буквами через всю страницу. И тогда оба же положили головы на стол и вместе заплакали.

Я не понимала. Долго думала над вопросом, не собрать ли мне по случаю революции шайку вольных разбойников в алых атласных костюмах с кинжалами за поясом и тоже «бороться». Весь вопрос заключался только в том — «за что?» Спасать царя или бороться «за свободу?» Но вспомнив недавно прочитанную историю французской революции, я с сожалением рассталась с этой мыслью.

В маленьком нашем уездном городишке, засыпанном снегом, с единственной главной мощенной улицей и несколькими трехэтажными зданиями, революция протекала очень мирно. Доносились только отголоски.

Где-то шли самосуды, зверская расправа, а у нас — ничего. В городе образовался, конечно, комитет. Но нас не трогали. В маленькой нашей усадьбе были в то время буквально только старые и малые — безрукий полковник — дядя Петя — старуха бабушка, да самая старшая из детей — я — на десятом году. Бабушку все знали и очень любили, дяде Пете по-старому еще отдавали честь и подтягивались.

В феврале, к марту, когда на солнце уже начинало подтаивать, а в воздухе пахло, по-особенному, весной, и звенела падающая с крыш веселая капель, в ясное солнечное утро бабушка позвала меня в гостиную. На белых атласных обоях бегали веселые солнечные зайчики. А бабушка стояла посреди, в шумящем своем платье с треном, с огромным, почти черным аметистом на груди, высокая, прямая, и какая-то торжественная.

— Одевайся. Поедем в город.

— Зачем, бабушка?

— Поедем посмотреть на революцию.

— Да куда вы, Селестина Александровна. Бог знает, что будет творится? А вы ребенка везете, — сказал дядя Петя.

Но мы поехали. И я невольно прониклась торжественностью обстановки: ореховые чудесные саночки, редко вынимавшиеся из каретника, крытые синим сукном, с медвежьей полостью, и старый наш Васька под голубой сеткой. Бог знает, сколько времени лежавшее в сарае! И бабушка в меховой шубе, меховой шапке, с огромной муфтой и даже с лорнетом. Глаза она сохранила до глубокой старости прекрасные — но на этот раз она взяла с собой лорнет!

Мы приехали в город. Остановились в боковой улочке около городского сада, выходявшей на главную. А по той шла процессия — красные знамена, флаги, красные банты, солдаты в ухарских фуражках, шинель нараспашку, какие-то растрепанные девицы, подозрительные типы, — картина хорошо знакомая нам всем, но виденная тогда мной впервые. Снег на улице обратился в грязное месиво, и топающие в нем нестройно пели новый Интернационал.

Мне не понравилось. Не было в этом ни красивого, ни торжественного. Всё было серое и буро-красное. Процессия казалась нелепой и скучной. Когда она прошла, бабушка опу-

стила лорнет и приказала кучеру повернуть обратно. Губы ее были сжаты, и сама она стала еще прямее и выше.

— Видела? — лаконически спросила она.

— Это революция, бабушка?

— Да. Так вот и запомни.

И я очень обрадовалась, когда в сумерках, в старом нашем белом доме мелькнул свет в незакрытых еще ставнями окнах. А эту поездку запомнила надолго. Больше мы не ездили с бабушкой вместе, на СМОТР революции.



ГАЛИНА КУЛАЕВА

РУССКИЕ ВЕЗДЕ

(Из мексиканских набросков)

Ахихик — маленькая деревушка, приютившаяся на северной стороне озера Чапала и, на первый взгляд, ничем не отличающаяся от тысячи других мексиканских деревень.

Мы приехали туда в жаркий полдень. Хотелось пить... В угловой лавчонке, где за пяточок мы утоляли жажду «вездесущим» Кока-Кола, я заметила плакат:

«Сдается или продается дом. За справками обращаться к А. Андреевой».¹

Дом здесь мы ни снимать ни покупать не собирались, но так странно и неожиданно было прочесть в этой мексиканской харчевке стопроцентную русскую фамилию, что любопытство заставило меня немедленно пуститься в поиски компатриотов. Найти оказалось не трудно; вся деревня знала «себору Руссо» — бывшую балерину, имеющую здесь, по сведениям словоохотливых крестьян, золотые прииски.

Сеньора Андреева оказалась действительно русской, но почти забывшей родной язык. Живет она в Ахихик со старушкой матерью около 10 лет, совершенно уйдя от «шумно-

го света» после трагической смерти брата, тоже балетного артиста.

В доме, напоминающем тургеневскую усадьбу, всё говорило об интересном и блестящем прошлом моей новой знакомой. — Программы выступлений в столицах мира — Вене, Риме, Париже, Рио-де-Жанейро... Афиши, фотографии ее и брата в балетных позах и костюмах, карточки многих всемирно известных артистов с трогательными личными надписями...

«Всё позади, всё это было давно, давно; а вот теперь живу далеко от людей, далеко от мира... Вы первая русская, которую я встретила за много, много лет; мне даже трудно говорить по-русски»...

**
*

Селайя — городишко грязный, проезжий, никакого интереса не представляющий. Нам надо было наполнить бензином автомобильный бак, подкачать шины и мы, я и моя приятельница-американка, оставив машину в гараже, решили выпить в ближайшем ресторанчике по чашке кофе. Я, как знающая немного испанский язык, пустилась в пространные объяснения с тупой девицей кельнершей, повторяя настойчиво и несколько раз, чтобы воду нам подали кипяченую, непременно кипяченую.

Рядом за столиком сидели два, как мне показалось, мексиканца. Они внимательно приглядывались и прислушивались. И вдруг до меня донеслось на чистейшем русском языке: «Ну ты посмотри на этих барынь! Корчат из себя Бог знает что! Американские дуры-туристки! Воображают, что получают здесь кипяченую воду».

Они непринужденно и довольно зло продолжали над нами подтрунивать.

Когда мы попросили подогреть сладкие булочки, их веселье перешло всякие границы. Я не выдержала. Повернулась и громко сказала:

— А ведь я всё понимаю, я — русская.

Один балагур посмотрел на меня; я видела, как к лицу его прилила кровь и оно стало совершенно багровым от кон-

фуза. Другой, обхватив голову руками, заикаясь бормотал:
— Боже мой! Какой ужас! Пожалуйста простите! Мы не думали, что вы понимаете. Ради Бога извините!

Через 10 минут мы расстались. Мы продолжали путь на восток, в Гуанахуато. Они возвращались домой в Мексико Сити. До свиданья... Может быть еще когда-нибудь встретимся...

**
*

Ох, уж эта русская привычка подтрунивать!

Это был один из первых дней нашего пребывания в Гвадалахаре. Мы медленно бродили по городу, стараясь запомнить каждый дом, каждую улицу, останавливаясь у каждой магазинной витрины. И вдруг в одном из окон, среди ножей, вилок, электрических фонариков, писчебумажных принадлежностей — мы заметили гордо возвышающийся настоящий русский никелированный самовар. Ну как удержаться от веселых остроумничаний. В Мексике — самовар! У витрины стояла моложавая дама, на которую мы не обратили никакого внимания, пока она не заговорила с нами по-русски: «Простите, но дело в том, что я всё понимаю и не хочу поставить вас в неудобное положение, если вы потом об этом узнаете».

Оказалось, что в Мексике она живет больше 20 лет, самовар этот пережил все мытарства беженства и сейчас в окне ее магазина ждет экстравагантного мексиканского покупателя, который захотел бы «чаепитничать» «эл эстило руссо».

**
*

Еду в автобусе из одного мексиканского городка в другой. Влезает старушка, волосы у нее седые, на макушке пучком собраны; глаза добрые и вся-то она олицетворение доброты... Следит все ли в автобусе удобно устроились, всем ли места хватило. Волнуется, чтобы у соседки ребенок не плакал. Говорунья такая и акцент. Я ее сразу распознала: русская старушка!

При первой возможности я подошла к ней. Ох, и обрадовалась же она! «Милая вы моя, вот уж как хорошо-то душу отведу с вами, трудно мне по-ихнему, по испански разговаривать!»

И пошла, и пошла! За три часа нашей совместной поездки успела она два раза всплакнуть. Один раз вспоминая бегские скитания по свету, а потом от радости, что внуки у нее растут такие хорошие. Едет навестить их в Монтеррей.

Дочь ее в Китае вышла замуж за мексиканского инженера и вот уже 15 лет, как все они устроились в Мексике. Вот только жалость, что внуки по-русски не понимают! Общее горе всех эмигрантских бабушек!

**

Когда встречаю русских так случайно, так неожиданно — вспоминаю строки талантливого поэта эмиграции, Алексея Ачаира:

Не сломила судьба нас, не выгнула,
Хоть пригнула до самой земли,
И за то, что нас Родина выгнала,
Мы по свету ее разнесли.

Гвадалхара, Мексика.



М. АБАЗА

ПАШКИНА КАРЬЕРА

(Очерк)

Познакомилась я с ней в разгаре второй мировой войны, в начале сороковых годов.

Мы тогда жили в чешской Праге. Перед этим прожили почти 26 лет в г. Пильзене, где мой муж служил на оружейных заводах Шкода.

После оккупации немцами Чехословакии, главное Управление заводов Шкода, где муж работал начальником отделения, было переведено в Прагу, куда мы и переехали в 1939 году. Немцы к иностранцам, в том числе и к русским, относились снисходительнее, чем к чешскому населению, но всё же это не мешало считать нас «унтерменшами». Вскоре мы вслед за чехами начали подвергаться некоторым ограничениям. К примеру — «унтерменши» могут обходиться без прислуги, и я лишилась работавшей у меня приходящей уборщицы, пани Гораковой. У нас была довольно большая квартира в центре города. Одних окон с зеркальными стеклами было 18...

Пани Горакова и я тяжело переживали разлуку. Она — потому что приходилось идти на работу к немцам, которых она ненавидела, я — потому что на меня ложилась вся приборка в доме, вплоть до стирки. Как же быть теперь? Конца войны не видно, вся Европа была в руках Гитлера. Выручила одна знакомая, генеральша Г.

— Возьмите Пашку, — сказала она. — Мне она нужна только раз в неделю, она нигде не записана и в работе нуждается, а к немцам служить не пойдет из-за ненависти к ним...

Я согласилась с ней. Чего бы я не простила женщине, которая избавляла меня от черной работы. Смутно помнила, что эта «Пашка» не блещет красотой и довольно фамильярная, но это меня не смущало.

На другой день, с запиской Веры Александровны, «Пашка» явилась ко мне. Была она довольно уродливая, приземистая, с рябоватым лицом и маленькими острыми глазами. Вид у нее был странный. Мытое и перемытое заштопанное платье стянутое у плоской талии кавказским пояском — «подарок одной казачки» как она объяснила, у которой она работала.

— Я ушла от нее потому, что она всех русских ругала. А я этого не люблю.

— Да разве казаки не русские?! — удивилась я.

— Вот подите ж... Она говорила: «Ты с Волги, а я с Кубани... Вы, — говорит, — революцию устроили»... А ка-

кую я революцию устраивала, когда я молодой тогда девкой была...

На ветхом, но чистом, Пашином платье надета была вроде суконной шубка с большим меховым воротником, шубку эту я посоветовала ей укоротить, потому что она чуть не волочилась по полу. Этой шубкой Паша очень гордилась. Вскоре ее у нее украли, когда она повесила ее у двери прачешной.

— Вот, не укорачивала и цела была, — как бы упрекала она меня. — Мешало вам что-ли, что она длинная... Как же я буду теперь?..

В свое первое посещение, отдав мне письмо генеральши, она, не дожидаясь приглашения, сняла шубку, обошла всю квартиру, пооткрывала и осмотрела все шкафы и вернувшись спросила, где у меня передники.

— Тут у вас работы порядочно, лучше сразу начать, — заявила она.

— Да мы еще с вами не договорились, — сказала я.

Пашка завязывала передник.

— А чего там договариваться... Я свое дело знаю... А сколько дадите, то и ладно будет... Мне бы только у своих работать, вы мне нравитесь... а к немцам не пойду, лучше помру с голоду...

Мне она тоже понравилась. Я протянула ей руку. Паша с серьезным видом ее пожала...

— Значит, по рукам, — сказала она и водворилась в квартиру.

Я сказала «водворилась», но это было не совсем так. Хотя при квартире у нас и была комната для прислуги, но ее облюбовал мой сын, артист труппы гастролировавшей по всей Чехии, и жил в ней когда приезжал в Прагу, а Паша спала у одной чешки, работавшей ночью в кафе, и Паша смотрела за ее ребенком. Потом мой сын обосновался в Праге, поселившись в гостиную у нас, а Паша стала жить в его временной комнате.

У Паши была безапелляционная манера что-либо требовать, а что было важно для меня — она полюбила моих кошек.

— Кошка зверь полезный, — говорила она. — Не то, что собака. На что собака в городе? .. Только брешет ... А кошка ловит мышов ...

Наши кошки «мышов» не ловили, их не было. Но Паша считала, что они от нечистой силы.

— Страсть как она их боится! — уверяла она.

— Ловит она ее, что ли? — спрашивала я.

— Нет, не ловит, нечистую силу без заговора поймать нельзя. А только у кошки тоже своя сила есть ...

Если ко мне приходили гости, Паша любила стать у дверей и слушать. Если ее что-нибудь удивляло или не нравилось, она вмешивалась в разговор. Одну мою знакомую чешку не взлюбила. Понимая по-чешски, не одобряла ее образа мыслей.

— Вы бы с ними поосторожней ... — советовала она мне. — Глаза их мне не нравятся, этой вашей пани ... Неверные глаза. Мало ли, что они немцев ругают ... А какие у них думки, нам с вами не понять ...

И Пашка оказалась права. Эта особа меня чуть не подвела.

Вскоре Паша рассказала мне свою историю. В том городе, где она служила девушкой-прислугой, ее соблазнил «чешский легионер» из бывших австрийских военнопленных. Он обещал жениться на ней. После падения Колчака, чехов вывезли на родину и оказалось, что у него в Праге есть жена, с которой он и сошелся, а Паша где-то служила и тоже сошлась с другим, от которого прижила ребенка. Сожитель ее бросил, а мальчика она отдала в приют, а сама опять пошла служить к эмигрантам. Когда она поступила ко мне, сыну ее Фердинанду, звала она его сокращенно «Ферда», было одиннадцать лет. По праздникам она брала его из приюта и всячески баловала, и хотя он, будучи противным мальчишкой, часто третировал мать, она готова была исполнять все его капризы.

Вскоре после поступления ко мне Паши я переехала на дачу, в 40 верстах от Праги, а Паша должна была придти и убирать комнаты и готовить для моего мужа и сына. Но через несколько дней муж протелефонировал мне, что Паша не приходит. Мне удалось через одну знакомую свя-

заться с Пашей и я спросила, почему она не приходит. Получила ответ:

— Да знаете, некоторые дамы не любят, чтобы без них в доме женщина была...

Я уверила ее, что не ревнива, и что в мое отсутствие ее невинности ничего не грозит.

Между тем прислуг, еще оставшихся у некоторых «унтерменшей», становилось всё меньше. Моя сестра тоже лишилась своей прислуги. Я предложила ей Пашу, та согласилась быть у нее приходящей. Стала зарабатывать больше и была очень довольна. Мы с сестрой подарили ей несколько платьев, и она сразу стала более благообразной. Понемногу наши знакомые начали просить отпускать к ним Пашу для домашних работ и у нее отбоя не стало от клиентов. Вскоре Паша принесла мне большую сумму денег, с просьбой пойти с ней и положить их на книжку, сама она не доверяла почтовым чиновникам. Каждую неделю мы с ней делали новый вклад. С увеличением доходов менялся и Пашин внешний вид. Ей переделали одно из моих черных платьев, приобрели наколку и передник. Начали с сестрой учить ее «манерам» и она понемногу «цивилизовалась» и стала получать более выгодные места. Научила я ее и готовить новые блюда, она делала всё старательно и чисто. Но от одной ее привычки я так и не сумела ее отучить: садясь за стол, она сваливала в одну тарелку всё вместе — суп, гарнир и жаркое. На мои слова, что это не вкусно, она отвечала: «Чего не вкусно? Всё в одно место пойдет». Сладкое она всегда оставляла для своего «Ферды». Его она тоже придела и купила ему гармошку, о которой он мечтал. Играть хорошо он не научился, но всё-таки извлекал из инструмента какие-то звуки, а Паша сидела за кухонным столом и вытирала катившиеся от умиления слезы.

Дела немцев становились хуже, и мы жили под Дамокловым мечом нового беженства. Муж мой вышел в отставку и мы берегли заработанные им деньги. Муж посоветовал и Паше забрать свои деньги с книжки и спрятать где-либо дома. Паша так и сделала и мы чуть не ахнули, когда пришли с ней на почту и увидели ее сбережения в несколько тысяч чешских крон.

— Да вас теперь любой человек замуж возьмет, — шутил мой муж.

Паша все слова принимала всерьез.

— Какой замуж? Мне уж за сорок перевалило... Небось такую красавицу задарма никто не возьмет... А я для них, что ли наживала?..

Эвакуироваться мы решили на своем транспорте: зять купил грузовой автомобиль. Паша обливалась слезами.

— Ох, чует мое сердце, что не увидимся мы больше, — причитала она. — Пропали ваши головушки!..

Квартиру мы свою отдали под охрану заводского управления, а Паше я предложила взять себе из вещей, что ей понравится. Она взяла только чайный сервиз и отнеся его в кооператив выменяла его на несколько фунтов копченой колбасы, которую отдала нам на дорогу.

— Мне без вас ничего не надо, — и снова с плачем: — Ах, лучше бы вы остались...

Наступил день отъезда из Праги. Наш грузовик наполненный вещами стоял у подъезда. Паша, рыдая, обнимала нас всех.

— Ох, остались бы, мои родные... Всё брошу... с вами буду... А то чует мое сердце, пропадёте вы ни за что, — причитала она. — Может вам денег нужно? — шепнула она мне в последнюю минуту. — Только скажите... Еще там на чужой стороне не хватит чего, не дай Бог...

Я поблагодарила ее, крепко поцеловав, и перекрестила. Она прижалась ко мне.

— Ох, тяжело мне!.. Каково-то там будет вам? — и в эту минуту ее искренней скорби, ее некрасивое лицо становилось благообразным...

Под горький плач Паши мы отъехали от подъезда на Мысликовой улице города Праги — и из своего уютного уголка — снова покатали в неизвестность.

Майроби, Кения.



КЛЕОПАТРА БОЛОТИНА

(Писательница)

С детства жизнь Клеопатры Болотиной была в искусстве. Внучка знаменитого скульптора Михаила Микешина и академика художника Афанасия Рокачевского, она рано проявила свои способности в пении и танцах: 8-ми лет обратила на себя внимание композитора Цезаря Кюи, исполняла на концертах в Петрограде его детские песни. Была ученицей Айседоры Дункан. В эмиграции танцевала в балете Виктора Зимина.

Подлинное призвание К. Б. сказалось в литературе. В 1942 г. вышла ее первая книга рассказов из константинопольской эпопеи. Следующая книга, издана в 1967 г., «Русская душа в изгнании».

Клеопатра Болотина написала три пьесы и состоит членом Лиги американских драматургов. Готовится к выходу ее роман из революционной эпохи — «Багряный закат».

ЧУДО С НЕБА

Бабушка Клавдия Ивановна «прогулялась» от Москвы до Нью-Йорка. Не добиться от ее еле заметных, бесцветных губ подробностей, как она в свои семьдесят пять лет всё-таки сделала такое трудное путешествие.

— Да, что ж? приехала и приехала! — только и скажет. А в маленьких глазах, высохших от давнишних слез, стоит подолгу вопрос: — А зачем?

Так вот и сейчас: стоит Клавдия Ивановна у шумного угла нью-йоркской улицы и глубиной мудрых мыслей призадумалась:

«Зачем, все-таки столько хлопот понадобилось сыну, чтобы заполнить ее в Америку? Ему и невестке она ясно не-

вмоготу, а внуку заместо няньки к его детям? Оно, пожалуй, не так уж глупо из соведпии родственницу взять: платить не нужно, и отношения человеческого не требуется. Одним словом «своя», да еще к суровой жизни привыкшая».

Может быть это было и так. И бабушка рада была бы помочь родным, да только откуда силушек-то взять? Ведь тяжкой жизнью последних лет на родине до всех болезней и до горба доработалась.

Как ни крепка в своем терпении старушка, всё же не выдержала, смахнула навернувшуюся слезинку и, испугавшись своей слабости, заторопилась. Вспомнила, что до дому улицу перейти нужно, только раньше какой-то свет надобно обождать, а какой, где, никак не запомнит. И опять оставилась, призадумалась...

«Пусть сынок Николушка с невесткой небогато живут, и внук с женой и детворой по-скромному, но всё же далеко им до бедности. Да беден ли кто здесь в Америке? На ком тут увидишь туфли рваные?»

И опять, как ни крепка в своем терпении была Клавдия Ивановна, взглянула на свою, еще из Москвы, истоптанную пару туфель, на подол старой обношенной юбки, ужаснулась, точно впервые на фоне общей роскоши увидела свою безнадежную бедность. С этим пришло и давно забытое чувство стыда и обиды на сына, на родных — что сами не видят...

Вот здесь-то с бабушкой и приключилось...

Не дождавшись света, старушка, наконец, решила пройти улицу до другого угла, там казалось ей спокойнее. Но не прошла она и до середины, как что-то большое, шумное обрушилось на нее сверху, ударило в плечо и свалило к ногам пешеходов.

Обступила ее толпа американская, приветливо-любезная, только никто в ней не нашелся достаточно умный, чтобы опознать в старушке русскую бабушку, живущую в доме на другой стороне улицы. Благо, она сама только на минуту как бы очумела, а потом, закаленная родиной, пошла быстро, давай Бог ноги, через дорогу к дому и света уже проклятого не дожидаясь.

Боялась Клавдия Ивановна, что осерчают на нее дома за неумелое хождение по улицам, да, неизвестно почему,

привязался к ней кто-то из толпы, долго о чем-то говорил ей на непонятном языке, визитную карточку свою совал, но, потеряв с ней терпение, сам вошел в дом и с семьей познакомился.

Испуглась старушка. Не полиция ли будет на нее вину какую взводить? Давай уже сама себя выручать и сыну рассказывать. Шла, мол, так и так, ударилась ну... ну и всё. Удивилась, что сына как будто огорчило, что вывеской не шарахнуло ее, как следует. Он косо посмотрел и сказал:

— Помалкивайте, мамаша, лучше.

Да еще стал ей страшные глаза делать, на пришедшего американца подмигивать и говорить:

— Видно здорово ушиблись. Никак ключицу сломали. Обязательно снимки нужно сделать. Вот влетит в копеечку!

Застыло всё внутри у Клавдии Ивановны. Что она слышит? Не лишилась ли она разума? А родные стали, что оголтелые: давай уже все ее косточки считать, качать головой, американцу докладывать. Тот в книжечку вписывает, сам как бы повеселел и давай уже с ними запросто, по-русски разговаривать. Извинился, что многие слова забыл... Тридцать лет, мол, как из Киевской губернии...

— Ложитесь, маменька, скорей! С такими вещами не шутят. Сейчас доктор придет!

Невестка тоже заботится и свою кровать предлагает.

Обомлела совсем старушка: не знает, заплакать ли ей, что забота о ней вдруг такая нежная, или закричать караул. Не сговорились ли хитрым образом родственники избавиться от нее? Сколько раз на своем веку видела, как здоровых маменек таким способом детки в сумасшедший дом сплавляли. Вспомнила и закричала благим матом. Все квартиранты сбежались, свои и чужие.

— Припадок от удара, несчастная... Чуть не убило громадной вывеской... Большой ушиб в спине... Свидетели есть и доктор свой, и адвокат серьезно взялся за дело!... — объяснял всем бабушкин сын.

— Врешь, такой доской и поцарапаться не могла! Не на такую напал! — продолжала кричать Клавдия Ивановна.

Много потребовалось времени, чтобы понять, наконец, старушке причину всей катавасии. Да и где уж там догадаться, что в Америке за такие вещи деньги дают? В Мос-

кве одного знакомого так пришибло свалившейся с дома балкой, что и попрощаться не успел, а вдова за жалобу еще в тюрьме отлеживалась вдоволь. Не везде такие порядки!

Сидит на мягкой невесткиной кровати Клавдия Ивановна, глазам, ушам не верит. Разместилась около нее вся семья, ласково, весело над ней подтрунивают:

— Небось, бабуся, как триста долларчиков получите, сразу обратно в СССР укатите! — говорил бойкий внучек.

«Нет, — думала старушка, — коли уж такое чудо с ней свершилось, то маленько и полакомиться хочется. Ведь только давеча обида брала за свою бедность. Подошвы еще в Москве продырявились, а юбка на ней та, что от первой жертвы революции — ее подруги Акимовны — осталась. Напрасно только в обиде на близких была... Без них и не получить бы ей ничего... Милые мои!»

Заснула Клавдия Ивановна, обласканная, счастливая, но сном, правда, не спокойным, всё во сне бегала куда-то с деньгами, спешила, тратила их... И хорошо делала, ибо только во сне она их и видела...

Не то, чтоб американцы надули. Театр откуда свалилась вывеска оказался богатым, заплатили триста целковых длинной бумажонкой, что здесь чеком называется. Но бабушке на нем сынок дал разрешение только свое имя написать, а после не до нее было. Народу в комнате набралось уйма. Разнюхали о получке, и давай каждый какие-то права предъявлять на деньги. Адвокат требует по всем законам себе половину. Вместо доктора пришла его жена (вернее, мол, дело будет), взяла 25 долларов. «Высказался» и квартирант: «За советы — пятерочку»... — иначе грозил сейчас же с квартиры съехать. Когда сын остался наедине с матерью, он тихо сказал:

— Вот видите, маменька, из-за вас и квартирант-подлец уходит. Если пойдете мне навстречу сотняжкой, очень выручите с квартирным долгом...

Невестка тоже успела вспомнить вовремя, что на соседней улице такая распродажа, что всё «даром» дают... Последний доллар взял займы внучек... «до завтра».

Опять стоит на широкой улице Клавдия Ивановна. Давно уже ей свет зеленый зажгли. Знает она его, видит, да только наплевать ей. Куда ей идти? Домой? Так там из-за пяти

долларов третий день драка с квартирантом... А просто по улицам ходить в юбке Акимовны, да дырявой обуви — со-
вестно...

И вдруг смутной и сладкой надеждой колыхнулось ста-
рушечье сердце:

«Эх, кабы опять ее пришибло чем-нибудь, да только уж
так, чтобы и не встать!



II. БОЛОТИНА-КУЛИК

(Пианистка)

Все ее называли «Елочка». Когда ей исполнился один
год, для нее был устроен специальный детский утренник в
фешенебельном русском ресторане на Лонг-Айланде.

Елочка сидела на высоком стульце и держала в руках
подаренную ей «гармонику». Играл русский оркестр. При
звуках веселой польки Елочка неожиданно встала и, едва
держась на ножках старалась танцевать в такт музыки.

К столу подбежал старый гармонист и сказал взволно-
ванно:

— Здесь находится с семьей пианист Рахманинов. Он об-
ратил внимание на Елочку за ее правильный ритм. Он про-
сит принести ему малютку.

Через несколько минут Елочка сидя на коленях знаме-
нитого композитора-пианиста Рахманинова, старалась ему
что-то сыграть на гармонике. Растроганный Сергей Василье-
вич поцеловал ручку ребенка. Старик гармонист, сияя, до-
кладывал родителям:

— Рахманинов поцеловал ручку Елочке! Быть ей музы-
кантшей!...

Это предсказание сбылось: с годами Елочка всё ярче про-
являла свое дарование пианистки. В 7 лет обворожила своей
игрой пианиста Осипа Габриловича, итальянского дирижера
Моллилари и др. Юной девушкой стала выступать в концер-

тах со своим отцом, скрипачем — Леонидом Болотиным. По заказу Скрябинского Общества она наиграла пластинки — несколько сонат Александра Скрябина, получив прекрасные отзывы. Вышла замуж за русского художника, Василия Кулик. Свою концертную работу она продолжает.

Их дочь, Ольга Кулик, проявила свой крупный талант к живописи. В 1969 году, в 15 лет обратила внимание своей яркой интересной работой «Русская сказка», выставленной на международной выставке в Филадельфии.



МАРИЯ ЧЕРНОСВИТОВА

МОЯ ЖИЗНЬ В МУЗЫКЕ

С детства моя душа была полна звуков. Всегда я что-то напевала, подбирала на фортепьяно. Посажу бывало мою маленькую сестренку на крылечко: «Пой!», а сама стараюсь подобрать второй голос. Бедной девочке это надоело. Она запротестовала: «Если бы я была царицей, я бы запретила второй голос!»

В гимназии были уроки пения, но учитель часто болел и пропускал уроки. Большими событиями для меня были приезды столичных знаменитостей. Концерты их потрясали всё мое существо. Музыкальной памяти у меня никогда не было. Я приносила с собой кусочек нотной бумаги и записывала ту или иную мелодию, потом играла ее на фортепьяно. Откуда пришло это мне, не знаю.

Окончив гимназию я купила учебник теории музыки и начала его читать. Меня поразило, что всё написанное там было мне знакомо. Оставалось только выучить музыкальные термины. Летом в деревне каждое утро я уходила в рощу с камертоном и томиком романсов Глинки, и во весь голос разучивала их. Выучив всё, я просила сестру аккомпанировать мне. Так началось мое пение.

Мечта учиться музыке не покидала меня. Родители мои не придавали этому серьезного значения. Денег на это тратить не хотели, да и отпустить меня одну в столицу — боялись.

Промаявшись целый год в Чернигове, я все-таки преодолела все препятствия и уехала в Москву, где жила моя подруга с матерью.

Но как попасть в консерваторию, не имея денег, а главное, никаких знаний? Знакомый ученик консерватории дал мне несколько уроков пения. С ним я разучила «Был у Христа младенец сад», и это было всё.

Никто не верил, что я буду принята, но я твердо решила идти к директору на прием. Тут же за разговором выучила глазами несколько строчек увертюры «Евгения Онегина» (опера эта тогда только начала входить в моду). А потом, я сыграла ее на фортепьяно. Была не была, иду завтра к директору!

Пришла на прием к Сафонову и говорю:

— Я хочу учиться музыке, но денег у меня нет.

— Чему именно?

— Мне все равно.

— Хотите учиться на арфе? есть вакансия.

Подумала: купить арфу и таскать ее за собой?

— Нет! — был мой ответ.

— Что же вы умеете?

— Почти ничего.

Разговор этот по-видимому заинтересовал Сафонова, и он велел мне прийти к нему на квартиру в ближайшее воскресенье.

К назначенному дню я умудрилась простудиться, но на прием все же пошла. Вхожу в залитый солнцем зал, где уже сидел какой-то молодой человек. Разговорились. Это был ученик консерватории, который никак не мог одолеть сольфеджио и Сафонов решил сам его проэкзаменовать.

Входит в зал Сафонов, садится за рояль и играет гамму в две октавы.

— Какой тон? — спрашивает у молодого человека. Тот молчит. — А вы? — обращается ко мне.

— Ла бемоль мажор.

— Верно. Пишите диктант. (Диктант был двухголосый).

Молча подошел ко мне, посмотрел, что я написала. Волнуясь говорю ему:

— Я ритм не успела обозначить.

— Это ничего! — одобрительно кивнув головой Сафонов подошел к молодому человеку. И я слышу: — Да она вас в карман спрячет, за сольфеджио и ничему не научилась. А она вообще ничему не училась.

Молодой человек исчез, а Сафонов подвел меня к роялю и начал экзаменовать мой слух. Как сейчас помню.

— Что это? — спрашивает.

— Че и Си.

— А это?

Я спохватилась.

— Нет, это не че и си, я ошиблась, а то было до и ля.

— Ну, то-то же! А это?

— Ми и наверху соль.

И так далее. Я отвечала без ошибки.

Поставил на пюпитр ноты:

— Играйте!

Я в ужасе — в ключе 6 диезов. Врала немилосердно.

— Это не годится. Спеть что-нибудь можете?

На всякий случай я взяла с собой «Северную звезду». Говорю, что простужена.

— Ничего, пойте!

Спела, конечно, плохо.

— Голоса у вас нет.

У меня сердце упало. Сафонов задумался.

— Что же мне с вами делать?.. Вот что: пойдите к Зарудной. Если она согласится учить вас петь, я достану вам стипендию.

В это время в зал вошел Ипполит Иванов. Сафонов подвел меня к нему и сказал:

— Вот тебе новая ученица, по гармонии.

После этого я пошла к Зарудной. Встретила она меня приветливо:

— А я о вас уже слышала.

Она стала тоже проверять мой слух, сначала на упражнениях, потом дала мне спеть какой-то незнакомый романс и сказала, что она меня возьмет. Тут же рассказала, что «вечером, в тот день, когда вы были у директора, мы были у не-

го в гостях. Он показал нам ваш диктант и предложил написать его. А мы, что-то напутали и сами над собой смеялись».

Через несколько дней я получила бумагу, что принята в Консерваторию. Начался первый этап в моей музыке.

Счастливая бегала я рано утром на уроки сольфеджио. Меня сразу посадили на двухголосное. Какое наслаждение писать диктанты и читать ноты с листа!

На уроках теории мне нечего было делать, даже было скучно. Меня перевели в класс гармонии. Не то было с пением. Зарудная не давала никакого понятия ни о звуке, ни о дыхании. Мы были перегружены бесконечными упражнениями, а каким голосом мы их поем, она не обращала внимания. Возвращалась я домой с утомленным горлом и упавшим духом. Но Зарудная была таким симпатичным человеком и так хорошо к нам относилась, что мы стеснялись что-либо ей сказать. Но вещи, которые я пела, я слышала на симфонических концертах и ученических вечерах, они радостно наполняли мою жизнь.

Все же на четвертом и пятом курсах голос мой оживился колоратурой на высоком регистре, и я была даже назначена петь на открытом вечере в присутствии Цезаря Кюи.

С теоретическими предметами я справлялась легко и кончила Консерваторию с дипломом Свободного Художника.

Чтобы получить этот диплом надо было преодолеть 13 предметов: пение, фортепьяно, драматические классы, декламацию, танцы, историю литературы, историю оперы, два курса сольфеджио, теорию, гармонию, энциклопедию и хоровой класс.

По пению и по фортепьяно я получила по 4 с плюсом. По теоретическим предметам — пятерки. Очень увлекалась декламацией и драматическим классом и на экзамене получила пять с плюсом, но за танцы только 3 с плюсом.

Сафонов дал мне подписать благодарность за стипендию какому-то богатому купцу. Потом была выдача дипломов, фотографий окончивших Консерваторию, во главе с директором. Двери захлопнулись. Кто хочет жить в музыке, найдет себе дорогу сам. Диплом Свободного Художника дает

только звание члена Русского Музыкального Общества и некоторые привилегии, например, даром брать на просмотр ноты в музыкальных магазинах и другие мелочи.

А музыка? Где ее искать? Судьба забросила меня в Тулу, потом в Полтаву. Пела я в каких-то благотворительных концертах, имела какой-то успех, но не была довольна собой. В Полтаве, преподавая пение в школе Русского Музыкального Общества, я никогда не забывала, что не просто даю уроки пения, а я состою на службе у Общества. Но было скучно. Только, когда появились романсы Рахманинова, вся моя душа была полна этими дивными мелодиями. Они воскресили меня.

Наконец я попала в Париж и познакомилась с преподавательницей пения — нет не пения — школой ее назывались: „Rose de la voix physique“.

Имя ее было мадам дю Коллет. Она воскресила мой голос, и я запела. С радостным чувством выходила я после урока на avenue Wagram. Какая легкость была не только в голосе, а во всем моем существе. Хотелось запеть во весь голос. Словно я побывала в санатории. Это было не только оздоровление моего голоса, но и тела и души. Настал второй этап моей жизни в музыке.

Мадам дю Коллет выступала и в печати. Она писала: «Берегите голоса детей и юношей. Этим вы их спасете от анемии и неврастения...» А теперь, через полвека, об этом заговорили терапевты и психиатры Америки.

Время от времени я устраивала у себя камерные вечера для моих знакомых. Пела произведения Глинки, Грига, Шумана. Особенным успехом пользовалась «Орешина» Шумана, которую мои восторженные слушатели заставляли повторять по много раз. Я не чувствовала не только никакой усталости, наоборот, — подъем духа. Я могла петь без конца. Мне казалось, что я уношусь высоко, высоко над землей. Тыркова сказала как-то: «Вот наша новая Оленина D'Alheim». Голос мой пел сам собой, не подчиняясь никаким правилам певческой премудрости. Она ему была и не нужна. Пела моя душа. Мне казалось, что я нашла себя и крепко и прочно стою на ногах.

Увы, это только казалось. Прошли года. Поселилась я в Петербурге, давала уроки пения, занималась и лечением разговорных голосов, пользуясь методом мадам дю Коллет. Преподавала пение в школе, где учились мои дети. Отдыхом для меня были небольшие камерные вечера в моей квартире для моих знакомых.

Преподавая пение в школе, я столкнулась с новой областью. Мне хотелось найти рациональный метод музыкального развития детей. Консерватории этому не учат. Я познакомилась с преподавателями других школ, просматривала учебники, которые могла найти в нотных магазинах и не находила того, что мне было нужно.

Большим событием для меня был приезд творца ритмической гимнастики Жака Далькроза. Посмотрев на демонстрации его учеников я записалась на только что открывшиеся курсы гимнастики и сольфеджио. Это был третий этап моей жизни в музыке.

Так же, как и после уроков у мадам дю Коллет, я выходила из школы Далькроза с таким же радостным чувством свободы во всем теле и в душе.

Теперь я знала, как вести уроки пения в школе. Вскоре меня пригласили на Фребелевские курсы и на курсы Лесгафта преподавать методику школьного пения и музыкальную грамоту.

Мое преподавание пения в Выборгском коммерческом училище ввело меня в круг людей идейно относившихся к педагогическому делу. Предполагались большие реформы. Пересмотр программ реальных и коммерческих училищ. Мне было поручено представить в комиссию проект введения обязательного преподавания музыкального развития в средней школе. Накануне революции эта комиссия собралась, но едва мы приступили к заслушиванию первого доклада, как на улице раздались крики, шум, — началась революция, и мы поспешили домой.

После революции, больше двух лет я прожила в родном Чернигове. И как ни странно, в это страшное и голодное время многим хотелось петь. Я преподавала пение и дома, и в

музыкальном училище. Желающих учиться петь было так много, что пришлось некоторым отказывать.

Устраивались концерты, на которых выступали и преподаватели и ученики. После трудового дня мы собирались у нас или у знакомых, отвести душу в пении. И жилось легче. Были у нас в моде старинные романсы, — словно наше прощанье с уходящей эпохой.

Чтобы выхлопотать визу я переехала в Киев. И там, трудности жизни, голод, а вечерами камерное пение.

В 1923 году я приехала в Прагу, где жили мои сыновья. После всего пережитого и длительной голодовки я не совсем могла петь. Казалось, что голос никогда не вернется.

Свою музыкальную жизнь в Праге я начала в хоре Вебера, потом в хоре Архангельского. Стала членом Музыкального Общества и постепенно вошла в музыкальную жизнь города.

Я давала уроки пения. В русском очаге устраивали концерты, посвященные Мусоргскому, Бородину, Гречанинову. Увлекались Даргомыжским, где я пела Донну Анну. Мне удалось устроить в большом зале два концерта русского старинного романса, которые имели громадный успех.

В Праге я прожила около двадцати лет. Когда пришли немцы, русским эмигрантам жить стало трудно, особенно старикам. Я решила устраивать в профессорском доме концерты. Концерты эти имели большой успех. Зал был до того переполнен, что сидели на подоконниках, молодежь забиралась на шкафы. Сидели и в передней на стульях, принесенных из своих квартир. Концертов тогда прошло семь. Они были посвящены Глинке, Даргомыжскому, Балакиреву, Бородину, Мусоргскому, Чайковскому и народной песне для детей.

Во время последних концертов у меня в кармане была уже виза, но об этом я никому не говорила, боясь, что в последнюю минуту всё может сорваться.

В феврале 1943 года я уехала во Францию. Там — затемнение, полуголодное существование. Некогда думать о музыке. Далее мне посчастливилось выехать в Америку. Там нашла музыкально образованных людей и начала устраи-

вать концерты-лекции для широкой публики и для студентов, изучающих русский язык. В программе концертов были чаще старинные русские песни. Этим моя музыкальная жизнь подходила к концу... А дальше — старческий дом на Толстовской ферме. Последнее пристанище в жизни.



ВЕРА НИКОЛАЕВНА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

(Пианистка-композитор)

Вера Николаевна проживает в Окланде — Калифорния. С самого детства она чувствовала необычайное влечение к музыке и интересовалась музыкальными инструментами. С трех-летнего возраста не отходила от рояля, сочиняла свою музыку.

В данное время она — автор многих музыкальных работ. Некоторые ее композиции посвящены церковному песнопению:

- «Вечери Твоея Тайныя»,
- «Взбранной Воеводе»,
- «Молитва Ангелу Хранителю»,
- «Молитва Господня»,
- «Символ веры».

Все это издано Православным издательством, протоиерея Николая Вейглас в Берклее, Калифорния.

Еврейским Обществом Вере Николаевне были заказаны «Балет» и «Рапсодия», в которых она пользовалась древними инструментами.

Вера Николаевна преподает в музыкальном отделе Калифорнийского университета.



ГЕОРГИЙ ПЕСКОВ *

СЕКРЕТ АННЫ ИВАНОВНЫ

В непролазных дебрях нашей современной жизни, многие еще надеются отыскать какую-то дорогу к счастью. А такой дороги — просто нет. Это не значит, конечно, что нет самого счастья. Счастье существует. Только оно, как всякий клад, зарыто. Может быть, даже не очень глубоко. Но, чтобы откопать, «слово» знать надо. Тому, кто не знает «слова» — клад никогда не дается.

«Слова» я не знаю, хвастать не хочу. Зато посчастливилось мне встретиться с женщиной, которой удалось откопать счастье.

Каким же образом она это сделала? Откуда узнала магическое слово? Кто ей его шепнул?

Несложная история ее жизни секрета, боюсь, не откроет. А пожалуй кто-нибудь и догадается. Тем лучше для него.

Нет надобности сообщать ее фамилию: фамилия русская, обыкновенная. Знакомые называли ее Анна-Ванна. Похожих на анну-Ванну эмигранток раньше много было. Да и теперь еще встречаются, хотя и значительно реже: очень простая; безо всякой претензии; слишком уж несовременная.

После войны я видел Анну-Ванну всего один раз, осенью 48-го года. Это была наша последняя встреча: в Париж я тогда приезжал на несколько дней, а она тою же зимой умерла.

Муж Анны-Ванны — эстет, поэт, евразиец, отчасти и авантюрист — еще в начале тридцатых годов ее бросил; сам куда-то потом пропал. С тремя маленькими детьми на руках, без всяких средств, жила она с тех пор на окраине Парижа; с грошового заработка на шомаж перебивалась.

* Литературный псевдоним Елены Альбертовны Дейша.

Зимой, перед Рождеством 38-го года, случилось с Анной-Ванной одно чрезвычайно важное событие. Событию предшествовал связанный с ним сон. Она его мне потом во всех подробностях рассказала.

Анна-Ванна видела себя в московском доме своего покойного отца. Здесь же, с нею (во сне это не казалось несообразным) и ее дети. В комнату залетела оса. Дети очень боятся осы. Анна-Ванна тоже боится. Не за себя, а за них. Она боится, как боишься во сне: до панического ужаса, совсем несообразного с ничтожной опасностью. Оса скользит по стеклу окна. «Это смерть, смерть! Не подходите! — шепчет Анна-Ванна. А сама, преодолевая ужас, бьет по осе ладонью, сшибает на пол; хочет на нее наступить... Но она, внезапно взлетев, забивается ей под рукав, ползет по руке, по груди... Острая колющая боль. «Я умираю... Бедные дети!» И Анна-Ванна просыпается. Люся рядом; ровно дышит, спит. В комнате мальчиков — тоже всё спокойно. «Слава Богу!» Она постаралась опять заснуть, но не могла. В голову лезло то, о чем раньше никогда не думала. Ясно представлялась возможность смерти: автомобиль наедет; или — катастрофа в метро. Отвезут в госпиталь. Выйдешь оттуда неспособной работать, калекой. Или — совсем не выйдешь. А то так и в госпиталь не повезут, прямо в морг. Детям скажут: "Votre mère est morte" — и всё. Они вернутся в страшную своей пустотой квартиру. А что дальше делать будут? На что жить? Агнесса Крутикова, если и даст что-нибудь, так очень немного. Просить Витя не станет. Он в свои пятнадцать лет такой упрямый гордец: помощь богатых считает для себя унижительной. И вот они, все трое, — голодные, злые, перессорившиеся между собой... Хлеба булочница в долг не дает, топить нечем, хозяин с квартиры гонит...

«Почему я об этом думаю? — спохватилась Анна-Ванна. — Почему мне кажется, что я скоро умру? Я здорова, мне всего 52 года: работать еще долго могу. Катастрофы в метро сравнительно редки, улицы я всегда перехожу по гвоздикам».

Утром Анна-Ванна, как всегда, отправилась на службу. Об осе старалась не думать, детям своего сна не рассказывала.

В один из ближайших дней (школы перед праздниками были уже закрыты) младшие дети, Алеша и Люся, встрети-

ли свою возвращавшуюся со службы «мамку» радостными криками: Агнесса Крутикова елку прислала! И свечи к ней, и украшения. И даже — целую коробку сладостей. Витя иронически усмехался; но в душе и он, конечно, был рад.

Анна-Ванна старалась принять участие в веселых приготовлениях, старалась забыть случившееся с ней на службе. «Ведь это такие пустяки», — говорила себе.

— Алеша уже две штучки съел, — пожаловалась Люся.

— Врешь! Я только одну кругленькую попробовал.

— Видите, какая Агнесса добрая, — сказала Анна-Ванна, — а вы были к ней так несправедливы. Ты, Витя, осуждал ее за то, что красится. Это — неверно, это — внешнее. Главное...

— «Главное душа!» — подмигнув брату, передразнил Витя.

— Если она даже красится... — Анна-Ванна не договорила. «Опять, опять! Сильнее, чем давеча за машинкой. Ну, что же особенного? Покалывает немножко, — принялась она себя уговаривать. — Ведь я никогда не была мнительной. Нехорошо только, что покалывает в том самом месте...»

— А что, не красится, по-твоему? — не унимался Витя. — Конечно красится, да еще как! И почему она хочет, чтобы ее называли Агнессой, когда она просто Агнюша?

Анна-Ванна не слушала. Стараясь сделать это незаметно, проводила рукой по «ужаленному» месту. Но сквозь пуловер ничего нельзя было прощупать.

— Подождите, я сейчас! — прошла в кухню, затворила дверь. — Пока сюда не ходите.

— Обиделась за свою Агнессу, — комментировал Витя.

Спешно расстегиваясь и запуская руку под рубашку, Анна-Ванна испытывала мучительное волнение. На левой груди, сбоку, «в том самом месте», дрожащие пальцы нащупали небольшую, сантиметра в два, опухоль. Поднесла зеркало: никакого наружного повреждения, никакой красноты, кожа нормального цвета. Внезапно ослабев, Анна-Ванна едва не выпустила зеркала.

Из-за двери доносился азартный спор:

— Мамка, когда будем елку зажигать? — своим ломающимся голосом кричал Витя. — На наше Рождество, или на их?

— На наше, на наше! — слышно было как Люся прыгает по комнате и бьет в ладоши.

— На их! — настаивал Алеша. — На наше у меня композиция.

Анна-Ванна, с зеркалом в руках, неподвижно сидела на кухонной табуретке. Ужас, теперешний ее ужас, как-то сплетался в ней с тогдашним, с тем невыразимым ужасом десятилетней Ани, когда строгий папа, которого прислуга называла «ваше превосходительство», при швейцаре Якове, не снимая шубы, сидел в передней на ларе и громко всхлипывал: «Аня, у мамы рак».

На следующее утро, ничего детям не сказав, Анна-Ванна, из ближайшего кафе, позвонила известному русскому хирургу. Она была хорошо с ним знакома, диагнозам его доверяла вполне. Услышав в чем дело, доктор сказал, что готов принять ее завтра же, вне приемных часов.

**
*

Анна Ивановна вышла от доктора, как ошеломленная. «Не может быть... Не может быть»...

На улице — всё по-прежнему: голубое небо в легких облаках, легкий, срываемый ветром, дым из труб; весело, с пакетами в руках спешат и снуют люди.

«Боже мой, что же теперь делать?»

Часы на башне какого-то общественного здания пробили четыре. Анна-Ванна вспомнила, что, когда она входила в приемную, было половина четвертого. Всего полчаса назад у нее была надежда. Ведь только надежда давала ей силы выдерживать глухонемое молчание пустой приемной, голых велосипедистов, скаливших на нее зубы с потрепанных страниц валявшегося там журнала. Унизительную неловкость раздевания при мужчине, не будь надежды, было бы совсем невозможно вынести. Даже в те последние минуты, когда доктор, осмотрев и ощупав ее опухоль, молча, не спеша мыл руки, а потом тщательно вытирал их о полотенце, даже в эти самые страшные минуты, она всё еще продолжала...

— Придется удалить. Вам сейчас же надо лечь в госпиталь.

Этими двумя деловыми фразами надежда была убита.

Со стыдом вспомнила Анна-Ванна, что она принялась о чем-то доктора просить, бестолково что-то ему объяснять, доказывать.

— Слушайте, — перебил он ее, — спорить не о чем. Одно из двух: или вы решаетесь на операцию, или я отказываюсь вас лечить.

Она не нашла, что сказать, а он, думая, что она сдается:

— Жду вас завтра утром, ровно в девять, в моем госпитале.

Только уже подходя к своему дому Анна-Ванна осмыслила весь ужас того, что ей предстояло: «Сейчас, едва войду, надо всё им сказать. А они елку устраивают, — почувствовала, что готова разрыдаться. — Я верующая, я христианка. И в загробную жизнь я, кажется, верила... Какая же может быть у меня загробная жизнь? Мучиться там за них буду, не смогу им помочь, ни беду отвести... Одна-одиношенька. Вот, как и сейчас. Потому что я и сейчас совсем одна, отрезанная от них. Нет никого, к кому бы могла пойти поплакать. Просто — поплакать. Ничего не говоря, не объясняя. И тот чтобы тоже молчал. Не говорил бы, как Агнеса: „Это ужасно, ужасно, душка! Прямо кошмар!“ Нет, пусть совсем молчит. Только бы чувствовать, что хоть немножко жалеет». Сдерживаясь последним усилием, поднялась в свою квартиру. Не готовилась, не знала с чего начнет, что скажет.

Необыкновенная тишина встретила ее в квартире. На видном месте лежала записка: «Мы пошли в „Монопри“. К пяти вернемся». Слава Богу! — Анна-Ванна дотацилась до своей комнаты, заперлась; повалившись на кровать громко зарыдала.

Она плакала безудержно, с тем наслаждением, которое знают женщины, годами не дававшие себе плакать. От слез она скоро отупела, сделалась окончательно неспособной ни на какое решение. Но решать ей уже и не нужно было: это взял на себя кто-то другой.

«Так не ложиться мне завтра в госпиталь? Не ложиться? — спрашивала она, заранее зная желанный ответ. — Детям, значит, ничего говорить не буду? Конечно, зачем говорить?

Пусть елку устраивают, пусть радуются. Как это просто, и как хорошо. А я-то, глупая, не догадывалась.

В квартиру ворвался гам молодых голосов:

— Мамка, ты здесь? Ты вернулась?

Анна-Ванна вскочила, торопливо оправилась. Вышла к ним через минуту, как ни в чем ни бывало.

**
*

Осенью 48-го года, проездом в Париж, пошел я на лекцию одного русского профессора — «Организм человека в борьбе с заболеваниями». Лектор говорил о железах, о гормонах, о самоотравлении и о рациональном питании. Когда кончил, спросил: не имеет ли кто-либо что-нибудь сказать? В аудитории водворилось конфузное молчание, которое на публичных лекциях, часто предшествует прениям. Но на этот раз прений, собственно, не было. Сидевший в первом ряду солидный господин с лысиной и брюшком, не вставая, спросил что-то про селезенку.

— Известный нюдист, — шепнул мне сосед.

Профессор тут же нюдисту ответил. Потом поднялась неопределенного возраста особа, должно быть медичка, и очень учено говорила об адреналине. Отвечать лектору не пришлось: она ничего не спрашивала, сама всё знала.

Опять наступило молчание. И профессор, обведя слушателей взглядом, начал было обычное:

— В таком случае, позвольте считать...

Но из задних рядов послышался неуверенный женский голос:

— Можно мне?

— Пожалуйста! — сказал профессор.

Несколько человек оглянулось на поднявшуюся болезненного вида пожилую даму. Я тотчас узнал в ней Анну-Ванну. Но как она изменилась! Конечно, видно, достались ей эти пережитые годы. Она стояла и, смущенно улыбаясь, не начинала говорить.

— Пожалуйста! — повторил профессор.

— Я только хотела сказать, — робко начала Анна-Ванна.

— Громче! — с известной строгостью произнес нюдист.

Замечая общее недоброжелательство, Анна-Ванна еще больше оробела.

— Я только хотела сказать... Железы, конечно, очень важны... и гормоны тоже. Очень, очень важны, я понимаю. Но мне кажется, что они еще не всё, и даже — не главное... Не самое главное...

Кое-где по рядам прошел сдержанный смешок. Соседка нюдиста, шикарная дама в меховом мантио, занятая напудриванием своего носа, с пудровкой в правой, с зеркальцем в левой, презрительно прищурилась через плечо.

— Ведь мы состоим не только из тела, — все-таки не сдавалась Анна-Ванна. — Наша душа тоже борется с болезнями... Даже с неизлечимыми. Со мной лично был совершенно чудесный случай...

Но публика, не слушая, уже вставала, двигала стульями. Доктор пришел на помощь смущенной чудачке.

— Вы совершенно правы, — сказал он авторитетно, — психологических факторов нельзя, разумеется, игнорировать, — он взглянул на часы. — Но нам, к сожалению, приходится кончать

При выходе я подошел к Анне-Ванне. Она встретила меня радостным восклицанием, принялась расспрашивать где и как живу.

Мы вместе вышли. Начинал накрапывать дождь. Я провожал ее до метро. Она рассказывала о своих близких (включая и Агнессу Крутикову), о неприятностях и тревогах, которые им приходилось переживать при немцах.

Слушая ее, я думал: «Желтая как лимон. В чем душа держится? А всё такая же».

— Да вы мне, о себе расскажите. Вы были исцелены?

— Ах, совсем не это тут важно! — воскликнула она убежденно. — Мне было дано успеть всех детей на ноги поставить. Я ведь уже сказала вам: Витя в Америке, женат, отлично там зарабатывает; у Алеши хорошее место здесь, в Париже; Люсе Агнесса обещает рекомендательное письмо к одному директору, который секретаршу ищет. Теперь, если бы я умерла...

— Разве ваша опухоль? ... — начал, было, я.

Она не дала доспросить.

— Теперь, если я умру, это уже не будет для них такой трагедией.

— Но где же и как сами-то вы живете?

— В старческом доме, — подхватила она прежним довольным тоном. — Мне прекрасно: все такие милые со мной, не понимаю даже, за что. Хорошая достаточная еда, очень чисто... Относительно ухода, конечно... где же им взять специальное оборудование, персонал? Мне-то и не нужно пока: сама могу еще, слава Богу. другим помогать. А потом, когда слягу... Разве не всё равно где умереть? В госпитале даже легче, чем у родных. Ну, прощайте, милый, — перебила она себя. — Спешу! А то как бы консьержка не рассердилась: Агнесса позволила мне сегодня у нее переночевать. У нас в доме насчет часов строго, иначе нельзя. Прощайте, спасибо. Храни вас Господь!

Я остановился и глядел ей вслед. Дождь лил теперь струями. Глянцевитый старый зонтик Анны-Ванны, болезненно на один бок ощерясь, выставлял обнаженную спицу.

**
**

Что ж, отгадали вы секрет Анны Ивановны? Едва ли. Еще скажете, пожалуй, что никакого секрета у нее и не было, что называть Анну Ивановну счастливицей — вы решительно отказываетесь. Но это уж ваше дело.



Е. РАЧИНСКАЯ

Из России была ребенком привезена в Харбин (Маньчжурия), где я получила среднее и высшее (юридическое) образование. В 1956 году выехала с семьей в Австралию, где служила в австрийских и французских фирмах, а в 1964 году переехала в Лондон. Здесь работаю в качестве переводчицы и доктора русской секции Восточно-европейского отдела Бибиси.

Писать начала с молодых лет. Стихи, рассказы и статьи печатались в харбинских журналах и газетах. Со времени пе-

реезда в Австралию много писала для газеты «Единение» (в Мельбурне) и начала сотрудничать в «Новом Русском Слове» в Нью-Йорке. Никогда не имела возможности посвящать все время чисто литературной работе, к которой меня тянуло всю жизнь.

ОЛЬГА И ЛИДА

Было еще довольно рано, когда Лида, задыхаясь, ворвалась ко мне в комнату. Я еще не вставала. Ночью я почти не спала. Все те же неотвязные мысли, которые мучили днем, а в ночные часы, как кошмар, давили душу и не давали сомкнуть глаз. Лида так энергично колотила в дверь, что я с тяжело забившимся сердцем, еще полусонная, в ужасе вскочила с постели.

— Кто там? Ради Бога, что опять случилось?

В то время могло случиться все что угодно, кроме хорошего. Ведь чем-то нужно объяснить, что стоило мне на пять минут опоздать вернуться домой в назначенное время — в семье начиналась паника... резкий звонок действовал на нервы, как удар хлыста. Осторожные люди с наступлением темноты предпочитали не выходить на улицу и сидели дома, не зажигая огня.

— Ах это ты, дорогая? Что такое? Входи, входи! Прости, я еще не одета.

Наша общая любимица, изящная эlegantная Лида, всегда была эксцентричной и слишком впечатлительной. Малейший пустяк мог вывести ее из себя, взволновать и расстроить. Но в то же время она проявила необычайную находчивость и настойчивость и сумела добиться невозможного: переслала записку и получила на нее ответ; сумела устроить передачу — немного еды и кое-что из одежды; и, повинувшись какому-то инстинкту или веря в чудо, в один пасмурный вечер, в такой-то час, очутилась на углу такой-то улицы и в двух шагах от нее тяжело прогрохотал грузовик, перевозивший из комендатуры в городскую тюрьму печальный груз: молчаливых, обреченных людей, среди которых она увидела нескольких знакомых и одного дорогого, любимого, и, быть может, — в последний раз.

В тот день она пришла домой как полумертвая. Говорить она не могла. Она только сжимала голову руками, беззвучно, безнадежно повторяя одно: «Алик, Алик, я не могу, я не могу, я...»

В то памятное утро она была буквально вне себя:

— Я еду немедленно, меня ждут внизу в машине. Слушай: я узнала, что сегодня утром у Московских казарм остановится поезд с ними... их увозят... Но я хочу взглянуть на них, хоть проститься. Скорей собирайся и скажи Ольге... Как-нибудь устройся с машиной. Я не могу ждать ни минуты. Ради Бога, скорей...

У нее были красные от слез и бессонницы глаза. Она была на грани полного отчаяния. Ее светлые крашенные волосы были растрепаны; худенькое, бледное личико без привычного макияжа казалось постаревшим и как будто незнакомым. В ней невозможно было узнать нашу модницу Лиду, которой вкус и элегантность заменяли красоту.

Не успела я прийти в себя, как она уже исчезла, а я начала торопливо одеваться.

Стоял сентябрь месяц года от Рождества Христова 1945. Памятного года для русского населения Маньчжурии, когда после победоносной войны она была занята Красной армией, и советские власти стали сводить счета с так называемыми «белыми» эмигрантами: начались аресты и массовый вывоз людей в Советский Союз на суд и расправу.

Ольга жила в том же доме, что и я, прямо подо мной, во втором этаже. Мы никогда не были дружны, но давно знали друг друга и нас объединило общее горе: у нее был взят брат Сергей, у меня — отец.

Я всегда восхищалась наружностью Ольги. У нее были бездонные глаза Мадонны, оригинальный овал матово-бледного лица, тяжелые темные волосы и стройная фигура. Ее брак с известным в городе адвокатом, который для нее перешагнул через жизнь другой, много лет связанной с ним женщины, и трагическая смерть его через несколько месяцев после свадьбы, придавали к тому же еще какое-то романтическое обаяние изящному облику Ольги.

Наскоро одевшись, я спустилась во второй этаж и позвонила. Никакого ответа. Я начала стучать. Дверь приоткрылась; из нее выглянуло испуганное лицо Ольгиной матери

— в то время мы все пугались всего и вся. Торопясь, в нескольких словах, я объяснила ей, в чем дело.

— Скажите Ольге, чтобы она собралась как можно скорее. Нельзя терять ни минуты. Я бегу устроиться с машиной. Пусть ждет меня на углу Китайской. Но только скорей, скорей... Дорога каждая минута. Ведь Сережа, почти наверное, в этом поезде.

Слома голову, я выбежала на улицу. Слава Богу, наш служебный «шевроле» стоял на месте у входа в контору. Взлететь на лестницу, поговорить с управляющим, который сразу понял в чем дело — и спуститься вниз было делом нескольких минут. Но где же Ольга?

— Женя, — сказала я, обращаясь к нашему шоферу, — ждите меня здесь. Мне разрешено воспользоваться машиной, я скажу, куда ехать. Только ради Бога, никуда не уезжайте!

Я побежала обратно к нашему дому, это было недалеко. Мне снова открыла мать Ольги. Она, видимо, плакала: у нее было совсем больное, измученное лицо.

— Где Ольга?

— Ушла, почти сразу же... Она что-то говорила про «Модерн», узнайте там на всякий случай... я, признаться, плохо поняла, при чем тут «Модерн».

Я была, как в бреду. Всё во мне трепетало от нетерпения, тревоги.

«Модерн» был лучшим отелем в нашем городе. Он находился как раз напротив моей конторы, на углу Главной улицы. Через стеклянную, вертящуюся дверь я вбежала в холл. Старый швейцар Григорий приветствовал меня, как добрую знакомую. Я знала его много-много лет.

Торопясь, я назвала имя Ольги.

— Не видели ли вы ее? Это страшно важно...

Григорий хотел что-то сказать, но видя в каком я состоянии, только молча указал на лестницу, которая вела вниз в дамскую парикмахерскую при отеле.

— Ольга, — закричала я еще с порога, — ведь я жду вас. Что вы, с ума сошли: ведь мы опоз... — но тут я задохнулась от поднявшегося во мне чувства негодования, возмущения, гнева, и замолчала.

Ольга удобно расположилась в кресле перед большим парикмахерским зеркалом. Ее бледное лицо было безмятежно спокойно и, как всегда, очаровательно. Ее глаза Мадонны внимательно рассматривали ее собственное отражение. Верочка, наша общая парикмахерша, быстро и ловко укладывала темные локоны на ее маленькой головке.

— Ну вот, я готова, можно ехать...

О, как она была спокойна, как хорошо собой владела! Я не находила слов. Не оглядываясь на нее, я повернулась и выбежала.

Не помню, как мы сели в машину, как ехали и как приехали на место. Я только повторяла, не помня себя: «Женя, дорогой, скорей, скорей, ради Бога!» Но его не нужно было торопить: мы мчались как сумасшедшие по немощным улицам пригорода, пугая кур и оставляя за собой облако пыли.

Наконец машина круто повернула направо и стала.

— Приехали, — сказал Женя. — Вот за этими домами железнодорожный путь. Туда и идите...

Пока я бегала туда и сюда, договаривалась о машине, искала Ольгу, пока мы ехали разгорелся ясный, теплый день. Было уже, вероятно, половина двенадцатого, и яркое маньчжурское солнце высоко стояло на безоблачном небе.

Мы повернули за угол и остановились.

Вот я пишу это, и снова, как наяву, как будто я видела всё это только вчера, встает передо мной незабываемая картина: усыпанная желтым гравием маленькая платформа железнодорожного полустанка, залитая солнечным светом. За ней — холодный, жесткий блеск уходящего вдаль рельсового пути. Почти физически осязаемое, тяжелое, свинцовое, мертвенное молчание... тут и там несколько одиноких женских фигур.

Немного в стороне, на досках сидела Лида. Она была похожа на безжизненно-поникший, увядающий цветок.

— Лида, где они?

Я скорее поняла, чем услышала беззвучный ответ:

— Их увезли!

— Скажи, отец, Алик. Сережа — они были в поезде?

Лида кивнула головой.

— Они до последней минуты ждали вас. Некоторые бросали записки своим... — неожиданно, жестом отчаяния, Лида закрыла лицо обеими руками. — Боже мой, Боже мой... если бы ты только могла видеть их! Такие измученные, несчастные... Увезли, увезли...

Я старалась не смотреть на Ольгу. По сравнению со мной и с Лидой, с нашими бледными, осунувшимися лицами, небрежной прической, одетых наспех и кое-как — она казалась существом из другого мира. На ней было свежее, как говорится, с утюжка, модное платье. Она выглядела спокойной и хорошо отдохнувшей. Ее глаза Мадонны не отражали ничего в своей бездонной глубине. Темные локоны, уложенные один к другому, оттеняли и подчеркивали матовую белизну ее кожи и нежный овал лица. Изящная ручка с розовыми ногтями поднесла к глазам кружевной платочек.

Вот и весь рассказ. Но никогда больше я не считала Ольгу красивой: для меня ее очарование испарилось, навсегда и бесповоротно. И когда при мне заходила о ней речь, и люди восхищались ее наружностью, я молчала или старалась перевести разговор на другую тему.



ОЛЬГА ПЕТРОВНА ТИССАРЕВСКАЯ

Дочь директора Художественной школы в Самаре. Кончила гимназию там же. Училась на Высших Политехнических курсах в Петрограде. В эмиграции в течение 15 лет работала тяжелым физическим трудом: на ремонте старых домов, была уборщицей и кухаркой и сестрой милосердия возле своего тяжело больного мужа. После его смерти, борясь с одиночеством, в 1965 году она совершила свое первое кругосветное путешествие и открыла в себе талант художницы тропических цветов. Особым способом она prepares шелковые ткани. На них масляными красками она пишет чудесные картины цветов в различных местах земного шара. На выставках ее картин в маленьком домике в Фениксе (Аризона) и в различных городах она успешно продает свои картины.

В 1969 году ей удалось объехать земной шар уже в ШЕСТОЙ раз! Большой круг ее знакомых и друзей помогает ей разнообразить места своих остановок. То она в Южной Африке, то в Южной Америке, то в Японии. Проезжая Индию, она дает яркое описание одного театрального представления, где пластинки с голосами Мохатма Ганди и Неру играют важную роль.

Ольга Петровна Тиссаревская неутомима. Она прислала Литературно-художественному кружку описание одного из своих путешествий на 27 страницах! А в одном из ее писем она указывает причину своей любви к путешествиям: «В свете есть столько красоты и экзотики, что трудно описать кратко всё виденное, прекрасное. После моих путешествий я не чувствую себя одинокой. А земной шар мне уже не кажется таким бесконечно большим и чуждым. Я уверена, что люди всех различных стран могут и должны быть друзьями».



ИРИНА ОБОЛЪЯНИНОВА

ЦЫГАНСКАЯ ПЕСНЯ И АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ

О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!

Все мы знаем эти строки, все мы любим цыганские напевы; всем близка и понятна теплота, простота, и в то же время сила чувств этих стихов. Но помним ли мы и знаем ли автора этих стихов? Нет, имя Аполлона Григорьева забыто и многим неизвестна его неудачная жизнь. Но его цыганские стихи живут среди нас и едва ли не каждый из нас отводил душу под гитарный перебор цыганских напевов.

Аполлон Григорьев и гитара — нераздельны. И кажется, что только гитара, его семиструнная подруга, понимала его, и он находил в ней свое утешение, выливал ей всю скорбь, свою безнадежную страсть любви и личного горя.

Хотя смолodu Аполлон Григорьев хорошо играл на рояле, он променял его на гитару и сделался страстным цыганистом. В цыганах он видел прирожденных даровитых музыкантов; их пение имело для него исключительное очарование.

Сам он пел цыганские песни, хотя и слабым и дрожащим голосом, с таким выражением и чувством, что своим исполнением зачаровывал слушателей. Он, собственно, не пел, а «пунктиром обозначал музыкальный контур песни». Фет рассказывал, как Аполлон Григорьев прошагивал несколько верст по московским улицам и переулкам и приходил к нему вечерами «с гитарой под полой», садился за нескончаемый самовар и пел цыганские песни до утра, и его пение «капризными вздохами врывалось в ночную тишь».

Любимым стихотворением-песней Аполлона Григорьева была «Венгерка», в которой почти каждая строка открывает лично тяжело пережитое автором. Страстность его натуры в поисках любви, сил творчества, источников вдохновения разбивалась о ряд острых неудач в личной жизни.

Еще молодым Аполлон Григорьев полюбил девушку, которая вышла замуж за другого. В «Венгерке», этой поэме безвыходного страдания, ожесточенно звучит:

«Эх...

Ты другому отдана,
Без возврата, без возврата,
Эх, — на ты, завей
Вереvoчкой горе...
Загуляй, да запей,
Топи тоску в море!»

Неудачна была и его женитьба: он любил безнадежно А. Корш, а женился на ее сестре Лидии. И об этом повествуют многим знакомые слова старинного романа:

«Нет, за тебя молиться я не мог,
Держа венец над головой твою,
Страдал ли я, иль просто изнемог,
Тебе, теперь, сказать я не умею,
Но за тебя молиться я не мог».

Неудачи в личной жизни толкали и тянули его вниз, к разгулу и постепенному разрушению его незаурядной талантливой личности. При его разностороннем блестящем об-

разовании он вращался в хорошем обществе; он сотрудничал в журнале «Время», затем в журнале братьев Достоевских «Эпоха». Он сам издавал несколько журналов, был близок со многими писателями того времени. Одним из его лучших друзей был Фет. Несомненно любовь к поэзии и дар поэтического творчества были связывающим звеном между ними.

Умер Аполлон Григорьев в Санкт Петербурге, в 1864 году. Умер осужденный, почти всеми забытый. Так на нет сошла его блестяще начатая жизнь, а его цыганские песни до сих пор жалобно звучат и звучат:

«Две гитары зазвены
Жалобно завывли,
С детства памятный напев,
Старый друг мой, ты ли!»

Среди русских любовь к цыганской песне настолько сильна, что и тут на чужбине она продолжает жить и будет жить. Многим она дорога по воспоминаниям, другим — по встревоженным ею чувствам.

Будут ли отзвуки веселыми или грустными? Несомненно, слушатели почувствуют весь размах цыганской песни: ее удали и смеха до страстных вздохов и горьких слез. То, что скрыто в душе, всколыхнется. Заискрятся глаза от веселья, затуманятся иногда от набежавших грустных воспоминаний. От знакомых мелодий и слов нахлынет что-то родное, незабываемое, пусть далекое, но вечно дорогое.

Цыганская песня — часть русской жизни. *

* Для сохранения русского языка на чужбине, Литературно-художественный кружок в Сан Франциско как-то посвятил весь зимний сезон литературных вечеров русской молодежи. Вечера назывались «калейдоскопическими». Темы выбирались самими студентами. Ими подбирался подходящий для темы материал. Молодежь составляла статью-речь, выучивала ее наизусть. На вечере они бойко, с выражением произносили свою речь. Громкие аплодисменты, а иногда и букетик цветов, заканчивали выступление.

Для той же цели Литературно-художественный кружок напечатал свою книгу № 4, «Театр для семьи и для школы», где появилось несколько пьес русской писательницы Нины Федоровой.



ВЕРА КОВАРСКАЯ

АЛЬБОМ

Когда в жизни почти всё уже осталось позади, одной из немногих ценностей, сохранившихся у человека, остаются фотографии, снятые на различных этапах жизненного пути... Неподалеку от Нью-Йорка, в моем маленьком имении, так и не вернувшись на родину, скончались мои родители. Когда солнце склоняется к западу и золотит верхушки деревьев, я все чаще и чаще просматриваю семейный альбом.

Первая в нем фотография была снята сто лет тому назад. Это фотография моей бабушки Веры Павловны Ильич-Шишацкой. У ней на коленях маленькая девочка, старшая сестра моей матери. Длинное платье, оборочки, сборочки. Как всё это странно! какими странными кажутся и рассказы (они появлялись в разных эмигрантских газетах), которые писала моя мать о своем детстве в Варшаве, где отец ее был священником Лазенковского госпиталя. У детей были гувернантки и гувернеры, в доме были денщики... Как трудно всё это себе представить сегодня.

Следующая фотография, полувывцветшая, любительская, — моя мать в 18 лет. Она тогда училась на Бестужевских курсах в Петербурге, которые окончила в 1894 году. В то время это было почти необычайно и, очевидно, она мне передала свою страсть к учению. Я коллекционировала университетские дипломы, как марки или фотографии.

Как хорош снимок, где на фоне Нижегородской выставки снят мой отец, совсем молодым студентом, вместе со своей матерью — бабушкой Евгеньей. Отец не любил говорить о своем детстве. Оно было бедным и тяжелым. Его отец торговал железом в Канавино, и я даже не знаю ни отчества, ни фамилии бабушки Евгении.

Одна из любимейших моих фотографий, — это портрет отца в потрясающем мундире с эполетами, снятый, когда он

учился в Киевском Политехническом Институте. Он хотел быть агрономом, но за участие в студенческих беспорядках он был лишен права учиться в России на пять лет и выслан в Лубны, Полтавской губернии. Если судить по снимкам, домик, в котором мои родители жили в Лубнах, был удивительно поэтичен, и о цветнике родители вспоминали часто, когда, уже в Америке, мы стали разводить цветы в нашем первом и последнем имении...

И вот моя самая ранняя фотография. Мне полтора года, и снята я в Вене, похожа на куклу, наряженную в чудесный вязаный костюмчик. Поездка была сопряжена со всякими трудностями, ибо я еще не была крещена, жандармы отказались выпустить меня из России, матери пришлось спешно вернуться в Киев, в семью известного профессора Вагнера. Его жена была моей крестной, и один из профессоров Политехнического института был моим крестным отцом.

Перелистываю альбом. Отец учился медицине в Мюнхене, чтобы не терять зря годов, когда ему было запрещено учиться в России. Летом мы ездили в Тироль. Какой очаровательный, словно опереточный, тирольский домик около Куфштейна! Мать в длиннополой юбке, отец со смешной бородкой, и между ними не то человек, не то кукла в тирольском костюме. Это я. А вот ручеек, через него переходят две девочки: моя сестра, малюсенькая, и я веду ее за ручку. Так я стараюсь делать всю свою жизнь. С сестрой связано и первое мое удивительно красочное воспоминание. В замочную скважину я смотрю, горько плача, как священник в золотых ризах окунает в купель мою сестру, и ненавижу его: вдруг он утопит ее. Священник пришел к нам из Художественного театра, вместе с крестной моей сестры, женой Сулержицкого, режиссера Первой студии Художественного театра... С ними связано и мое московское детство.

Вот мы в белых капорах (дата: Москва 1917 год). Отец тогда был санитарным врачом города Москвы. Капоры были куплены для елки 1916 года у Сулержицких, и в них же мы уехали из Москвы в 1918 году, в теплушке, на Могилев. Потом был Киев с гетманом Скоропадским, Одесса с ночными налетами.

Вот мы все на снимке для паспорта в Константинополе. У меня в руках кукла Лаура, которую я обожала, и фото-

графия которой тоже, таким образом, попала в паспорт, хотя этого и не полагалось.

Моя «журналистическая деятельность» началась на пароходе «Карковада», на котором мы плыли три недели из Константинополя в Марсель. Я решила издавать ежедневную газету под громким названием «Что день грядущий нам готовит?». Главными сотрудниками газеты были Алексей Толстой и его жена Наталья Крандиевская. Теперь не помню, писал ли в ней Алданов. Он тогда был еще совсем молод и ухаживал за своей будущей женой Татьяной Зайцевой, тоже ехавшей на «Карковаде» (кто написал стихи, что начинались: «Вот КАРКОВАДА вышла из ад?»). Никита Толстой (герой чудесной книги А. Толстого «Детство Никиты»), моя сестра и я ничего умнее не могли придумать, как устраивать набеги на влюбленных. Бедный Алданов! Так я перед ним никогда и не извинилась.

А потом страницы и страницы фотографий, заснятых во Франции... Двадцать лет жизни. Вот группа девочек «Колледжа Севинье», куда меня сразу отдали, чтобы я научилась французскому языку, ибо в продолжении всех этих лет мы «каждый день» собирались вернуться домой, в Москву, и всё это время проспали на походных кроватях.

Потом фотография в Лицее имени Виктора Дюрюи: выпускной класс бакалавров по философии (первую часть я сдала по математике, но не особенно удачно, и все мои мечты быть инженером канули в вечность). Я стою рядом с дочерью президента Мильерана, и у нас удивительно длинные платья и очень томный вид.

Это был период, когда надо было решать, что делать, куда дальше идти учиться? Я выбрала юридический факультет, не потому, что мечтала защищать «вдов, сирот и бедных», а потому, что двое из моих лучших друзей его выбрали. Одним из них был многообещавший молодой поэт Евгений Шаж.

Как теперь хорошо вспоминать это время. Быть студентом! Казалось, что приобщились каких-то совсем особых тайн, никому не доступных. У нас была наша *альма матер*, и мы с таким восхищением относились к нашим профессорам, что бунты в Сорбонне в прошлом году показались мне чем-то нецелесообразным и совершенно непонятным!

Не скажу, чтобы я особенно блестяще училась. Но столько другого надо было еще делать. Были кружки поэтов (и русские, и французские), затем я принимала участие в двух кружках изучения Марселя Пруста и состояла членом нескольких обществ любителей кинематографии. Тогда я начала настоящую журналистическую деятельность и писала отзывы о фильмах в русской парижской газете. А сколько было интересных знакомых! Благодаря тому, что у отца было книгоиздательское дело «Родник», все русские писатели были звездами близкого небосклона. Редакция «Современных Записок», а затем и «Русских Записок», были чем-то своим. О том, что быть среди и около русских писателей казалось совсем простым и обыденным фактом, показывает такой случай.

Мы как-то приехали в Аркашон. Это чудесное местечко на берегу Атлантического океана, излюбленный пляж русской колонии. Решили навестить Бальмонта, который проводил там лето. Мы долго шли пешком, было жарко, и вот, когда Бальмонт читал нам свои стихи, я заснула... Когда я вспоминаю это теперь, то умираю со стыда. Но тогда к Бальмонту можно было пойти запросто. Интереснее всего бывало у Ремизова, со всеми его чёртиками, кроличьими лапками, бархатными пауками.

Вот фотография тридцатых годов. Я около памятника Бельфорского льва в Париже. Рядом находилась Лига Прав Человека и Гражданина, в юридическом отделе которой я проработала около пяти лет, после чего поступила в Сорбонну на филологический факультет, а затем и в Институт Искусства и Археологии, так мне надоела юриспруденция и всё к ней относящееся.

Вот фотография снятая в 1939 году летом. Отец, мать и я на фоне стены, увитой виноградными лозами. Это было снято в Аннеси (в Савое) за месяц до начала мировой войны. Аннеси — это другое яркое пятно в калейдоскопе моих воспоминаний. Мы провели там десять лет (по три месяца в году, летом).

Как раз в самом начале тридцатых годов оксфордский профессор русского языка Коновалов стал присылать к матери своих лучших учеников, нуждающихся в интенсивных занятиях. Почти все были будущие дипломаты. Со многими

у меня и до сих пор сохранились лучшие отношения. У нас иногда жило пять-шесть оксфордцев, а потом и кэмбриджцев, одновременно. Для того, чтобы мы могли проводить лето на даче, мать уже многие годы держала летом пансион (только много лет спустя я поняла, какой это было для нее жертвой: как истинно культурный человек, она к еде относилась равнодушно и презирала разговоры о жарком и печениях). По мере увеличения количества учеников уменьшалось число других пенсионеров. Мы теперь могли их отбирать, дабы иметь нескольких человек, говорящих по-русски, для того, чтобы англичане чувствовали себя воистину в русском окружении. А когда кончились уроки (я всегда на лето брала продолжительный отпуск, помогала по хозяйству, давала уроки французского языка), мы ездили в горы. Отец тогда уже купил автомобиль («ситроен» 1926 года!), и какие занятные прогулки с восхождением на горы, он придумывал.

Вот фотография снятая в По, на юге Франции, через год после предыдущей. Сад детской колонии Земгора и ИМКА (УМКА). Мы туда приехали 17 июня 1940 года — день речи и сдачи Петэна Гитлеру.

Это было странное и страшное лето. Но надо было жить. Отец работал врачом в колонии, мать преподавала русский язык, а я, счастливая обладательница велосипеда, который мы догадались взять с собой из Парижа, привязавши к автомобилю (а уезжая продали профессору Вышеславцеву), — была «рассыльным» для всех. Ездила из местечка, где была колония, к д-ру Долгополову и Недошивиной, верным работникам Земгора. Ездила на нем и на работу в городскую управу По, где я работала в отделе индустриальной психологии (зимою 1940 г. я окончила в Париже специальный ускоренный военный курс по этим вопросам).

В конце лета неожиданно-негадано пришла телеграмма: «Американская виза ждет вас в Марселе, выезжайте немедленно». Мы долго не могли решиться на новый уход, новую эмиграцию. Уехали после долгой борьбы с собой, и так и не вернулись в Париж.

На пароходе «Неа Хеллая», уносившем нас в Америку из Лиссабона, я снята печальной и грустной, смотрящей на исчезающие вдали берега Европы.

И вот Нью-Йорк, первый снимок квартиры, в которой я живу и теперь; только она еще почти пустая: сейчас же в ней около двух тысяч книг (в Париже осталось около 7 тысяч — их увезли немцы потом —, и мы долго не покупали новых), десятки картин знакомых художников.

Моей первой работой в Нью-Йорке была служба в библиотеке одной женской организации, потом я работала в агентстве Гаван (Аженс Франс Пресс) редактором по биржевым делам и одновременно училась в Колумбийском университете на доктора философии, по отделу истории искусства. В 1946 году я стала писать художественную критику в «Новом Русском Слове» в Нью-Йорке и в «Новом журнале».

Несколько лет спустя, я получила службу в журнале «Тайм», где уже работаю 23 года, в иностранном отделе. И хотя меня ценят, в глубине души я бы предпочитала преподавать историю искусства.

Есть одна фотография этой эпохи, которую я очень люблю. Она снята в Миддлбэри Колледж, где я одно лето преподавала историю русского искусства. Группа учеников — в середине я с большим портретом Пушкина кисти Кипренского в руках. Это было чудесное лето. Шесть недель лекций о русских художниках, скульпторах, зодчих...

На одном снимке в квартире отец в медицинском халате, с пациентом. То чего не удалось добиться во Франции, свершилось тут, как и в России, — отец стал врачом и в Америке.

Первые годы в Нью-Йорке были полны активного участия во всевозможных русских начинаниях: Литературный Фонд, Общество Врачей, Кружок Юристов. Как жаль, что теперь почти все заглохло! Как жаль, что вернулся в Европу Алданов, как жаль, что литературные вечера у г-жи Петлис уже давно прекратились...

У нас в доме всегда было полно людей: ученики матери, которых не пересчитаешь, вновь прибывшие из Европы вслед за нами, потом в середине сороковых годов. Мы любили «на масленице жирной» устраивать блины, любили устраивать чтения. И даже теперь — одна — я по силе возможностей продолжаю следовать нашим московским навыкам.

И вот, почти в конце альбома, первая фотография Затишья. Мы его купили — мечту желанную многих лет — в 1957 году. И оно сразу стало центром всей жизни. Постепенно я «забросила» заметки о выставках, переключилась на очерки о нашем имении. Благодаря им создавалась новая группа друзей-читателей. Немало фотографий запечатлело навеки их посещение нашего тихого уголка.

Из Затишья же ушел в лучший мир мой отец, совсем неожиданно заснула навсегда несколько лет спустя в своей голубой спальне моя мать...

У меня из всего прошлого, из всего что создало меня, того, что я любила, остались лишь фотографии. Конечно, у меня есть моя работа — очень приятно и интересно быть журналисткой, — у меня есть мое Затишье. Но это лишь соломинки утопающего. Часами я могу разглядывать фотографии, стараясь перевести в настоящее то, что было в прошлом. У меня много новых снимков, сделанных во время поездок в Европу, в Югославию, о которых я так люблю писать заметки.

Но лучше было бы по-реальному быть вот на этой фотографии, где за руку с сестренкой я перехожу ручеек в Тироле больше пятидесяти лет назад...



МАРИЯ СТАРК

СЕРЕБРЯНЫЙ ПОЯСОК

День прошел так же безрадостно, как до него проходили другие дни. Да и завтрашний день лучше не будет. На службе всё те же тупые, давно надоевшие лица, всё те же сплетни и зависть, сухой стук пишущих машинок и резкие звонки двух телефонов. А вечером, после духоты и давки в метро, — знакомая улица, совсем не похожая ни на одну цветную открытку с видом города, который считается самым прекрасным в мире.

Вернувшись домой, я нашла на полу два, подсунутых под дверь, конверта. В одном была реклама порошка для стирки. Другой был с иностранной маркой.

Как бывало уже не раз, дневные переживания стали постепенно терять свою остроту, и вся будничная действительность отошла на второй план.

Когда стихает город сонный,
И гаснет день в чужом краю,
Весенним ветром легкозвонным
Тыходишь в комнату мою.

Этим словами ты встречаешь меня, когда я вечером прихожу к тебе. И неизменная радость встречи перечеркивает серую страницу пережитого дня. Мне кажется, что я приношу тебе то, чего тебе недостает, и знаю, что получаю взамен еще больше.

Но иногда я не застаю тебя дома. Тогда я начинаю разглядывать предметы, которые живут в твоей комнате.

Подхожу к письменному столу и трогаю его гладкую поверхность. На этом столе ты раскладываешь листы бумаги с набросками поэтических образов. Из этих набросков рождаются стихи. Я хотела бы, чтобы они всегда говорили обо мне, но понимаю, что не имею права на это.

На столе стоит высокий малахитовый стаканчик с потемневшим от времени серебряным пояском. Когда-то, в другой стране, у тебя был такой же стаканчик. Но, случилось так, что он выскользнул из твоих детских рук и упал на пол. А потом, на маленьких ладонях лежали осколки. Уцелел только серебряный пояс. Тебе тогда казалось, что случилось что-то непоправимое. И, может быть, в этой детской печали скрывалась какая-то неуловимая правда. Ведь в жизни, потом, было так много других утрат... И не перечесать всех осколков прошлого.

Нет, не надо об этом вспоминать. Сегодня я принесла тебе цветы. Не те, что нравятся тебе. Но ты смотришь на цветы иначе. Ты любишь незабудки. Может быть, ты находишь какой-то скрытый смысл в этих маленьких цветочках. Пусть будет по-твоему. У тебя всегда будут незабудки на столе.

А вот лампа с большим абажуром из белого матового стекла. Весь день, когда тебя нет дома, эта лампа — тусклый

безжизненный предмет. Но когда ты вечером возвращаешься домой, она оживает и светится. Я люблю твою лампу.

Люблю и подушку на диване, который так же служит тебе кроватью. Твоя подушка добра. Когда ты ложишься отдохнуть, она, как будто, понимает — твою усталость и жалеет тебя. Ласково прижимаясь к твоей щеке, она шепчет что-то хорошее, И, может быть, когда ты засыпаешь, она рассказывает тебе обо мне.

Так, в твоей комнате, я провожу время без тебя. Потом ты приходишь, и мы начинаем разговаривать. Вернее — говорю я. Иногда, в шутливых выражениях, рассказываю о том, что, на самом деле, совсем не весело. Но ты, конечно, понимаешь, что я приношу тебе только простое и светлое, а трудное и темное оставляю себе.

Иногда я вспоминаю о прошлом, но почти никогда не говорю о том, что всё сложилось не так, как нам когда-то хотелось. Да и ты об этом не говоришь. Есть темы, которых мы не должны касаться, и эта недоговоренность нас еще больше сближает.

Твоя комната похожа на монашескую келью. Но ты говоришь, что мое присутствие оживляет, даже украшает ее.

Ты садишься на диван и смотришь на мое лицо, освещенное матовой лампой. Я тебе улыбаюсь. Потом твои глаза начинают смыкаться, и голова откидывается на подушку.

— Спокойной ночи.

Иногда бывает иначе. Ведь тебе приходится изо дня в день делать не то, что хочется, и встречаться с теми, кого лучше было бы никогда не встречать. И, после утомительного дня, ты не в силах даже разговаривать со мной. Но это не существенно. Я всё понимаю и так же ласково смотрю на тебя. — Ничего! Может быть завтра всё станет проще и легче. Знаю, что жизнь не всегда складывается так, как мы хотим. И всё же в ней иногда встречается что-то радостное, пусть даже небольшое, но более значительное чем всё остальное. Так — розовая ветка цветущего за окном дерева может заслонить ряд больших унылых домов.

Думай о чем-нибудь хорошем и помни, что, пока я с тобой, ты не имеешь права говорить об одиночестве. И, всё равно, что мы не встречаемся наяву. Я никогда у тебя не бывала,

не знаю, как выглядит комната, куда я незримо приношу увядающие незабудки. Может быть, у тебя нет ни письменного стола, ни лампы, которая оживает, когда ты возвращаешься домой. Всё это я придумала, чтобы мы были всегда вместе, всегда и всюду.

И это не ты, а я в детстве плакала над искалеченным маляхитовым стаканчиком.

За твоим не завешенным окном, на темносинем весеннем небе мерцают первые звезды. Вокруг — тишина. Положи теперь меня в ящик стола. Я опять приду к тебе, когда ты меня позовешь

Ведь я — твой бумажный друг. Я — это только мои письма и моя биография. Но наша дальняя близость ярче и безоблачней любой реальной близости.

Издали я кажусь тебе лучше — ласковее и веселее. И мое лицо в рамке моложе и красивей того, которое каждое утро отражается в зеркале.

Всё тот же вечер одинокий...

Но ты запомнишь навсегда,

Что полнозвучен звук далекий

И ярче дальняя звезда.

За моим окном гаснет дождливый день. По стеклу стекают крупные капли. Неба нет. А с улицы доносится всё тот же назойливый шум машин, автобусов и грузовиков. Не стихает, не засыпает неутомонный Париж. Возможно, что издали этот город тоже кажется тебе лучше и красивее, чем он есть на самом деле.

Я перечитала твое письмо. Мы опять вместе. Ведь ты приходишь ко мне так же, как я прихожу к тебе.

Но никто из нас не может изменить того, что сложилось не по нашей воле. Я живу в одной стране, а ты в другой, далеко от меня. И мы, вероятно, никогда не встретимся.

Может быть, так лучше.



В. К. ОГИЛЬВИ-СЛОБОДЧИКОВА

ПУТЬ НА ХАЛУН АРШАН

В 1929 году мой отец был назначен курортным врачом от Китайско-Восточной дороги на Халун Аршан. Аршан — старый монгольский курорт, находится он на отрогах Хингана и существует уже несколько тысяч лет. Давнишний пациент моего отца, монгольский князь Цын-Ды-Гун предложил нашей семье ехать туда с ним в его автомобиле, что было быстрее и удобнее поездки на автобусе.

На Аршане всё население курорта встретило нас. Встреча автомобилей и автобусов была единственным развлечением курортников. Нас провели к нашему обиталищу. Это был маленький фанерный домик с двумя крохотными комнатами. Он обладал странными свойствами: днем невероятно накалялся, ночью же настолько охлаждался, что приходилось закрываться не только теплым одеялом, но еще и всем запасом шуб.

Неподалеку от домиков находились источники. Вид их был очень примитивный: в земле были выдолблены углубления, обложенные внутри и с боков булыжниками. Размер этих «ванн» был различен. У монголов каждый источник имел свое название и предназначался для той или иной болезни. Раньше все ванны кишели змеями, но с тех пор как Аршан стал популярен среди русских, змеи стали исчезать. Наши русские, сидя в ванне, не могли себе отказать в удовольствии намылиться, а мыло, по-видимому, никак не уживалось со змеями. Заметив исчезновение змей, монголы запретили употребление мыла, но было уже поздно, змей стало значительно меньше, а монголы приписывали магическое действие источников, частично, присутствию в них змей. Самым популярным источником был «Цын-кир», самый холодный. Рядом с ним уживался один из самых горячих источников.

Как-то раз, вернувшись с источников, мы слышали разговор, что Аршан собираются захватить красные монголы. Шофёр, приехавший из Хайлара, сказал, что там ходят слухи, что Аршан уже ими занят. Никто не обратил внимания на эти слухи. Несколько дней прошло спокойно. И вот однажды автобус не появился в назначенное время. Все начали волноваться, не случилось ли с ним что-нибудь в дороге. Вдруг вдали показалась точка, окруженная пылью. Еще издали мы заметили на подножках омнибуса солдат. К нашему изумлению, он остановился не на своем обычном месте, а около казарм. Сейчас же из него выскочили пять или шесть солдат и прошли прямо в казармы, увея с собой приехавших. Все с напряжением ждали. Минуты казались часами. Наконец на пороге появился один из приехавших. Все бросились к нему. Оказывается, красные баргинцы заняли город Хандогай и теперь приехали занимать Аршан. Было как-то дико, что Аршан с двумястами дачников и двадцатью солдатами, захватили пять красных монгольских солдат! Предводитель отряда Мерсэ приказал всем собраться около казарм, причем предупредил, что при малейшей попытке уйти, стража будет стрелять. Это испугало и до того напуганных аршанцев. Окруженный солдатами Мерсэ заявил:

— Вам ничто не угрожает. Когда мы займем Хайлар, все смогут беспрепятственно ехать домой. Дольше пяти дней это не продлится, так как туннель через Хинган уже взорван.

Теперь же Аршан оцеплен, никому не разрешалось выходить за его пределы. Аршан расположен в ложбине между трех гор. Мерсэ поставил на каждой горе по солдату. Было жутко. Больные боялись принимать ванны. С нетерпением ждали прихода следующего автобуса, но он не показывался. В курортной столовой ввели паек. На Аршане становилось всё тревожнее, хлеб выходил, мяса совсем не было. Поговаривали о нападении хунхузов...

К отцу пришли несколько курортников и предложили присоединиться к группе, которая собиралась выехать из Аршана в воскресенье 19 августа. Они предлагали найти порогу на Барим. Отец сейчас же согласился и сговорился с возчиками.

На утро нас вышли провожать оставшиеся дачники. Всего отправлялось 39 человек, из них 7 китайцев, 10 женщин и одна 9-летняя девочка. Больше половины шло пешком: всего было 6 телег, из них 3 везли вещи.

Не успели мы проехать и пяти верст, как нас догнали монгольские солдаты и с ружьями наперевес заставили остановиться. Отец, говоривший по-монгольски, объяснил им, что нам дано разрешение на выезд и показал им бумагу. Даже не взглянув на нее, они чрезвычайно грубо потребовали от нас оружие. Им было сказано, что у нас есть только три охотничьих ружья. Видимо не поверив этому, начальник отряда дал распоряжение обыскать повозки. Не найдя ничего, они стали любезнее и объяснили, что кто-то донес на папу, что у него имеются револьверы и винтовки. По их словам, донесли двое русских. Монголы, вежливо попрощавшись, уехали, захватив с собой наши охотничьи ружья.

Приведя в порядок наши вещи, мы отправились дальше. Дорога вела на одну из самых высоких гор, окружавших Аршан. Мы долго поднимались, казалось не было конца пути, но вот, наконец, показалась башенка из камней. Монголы на каждой вершине ставят такую горку, втыкают в нее палки, и каждый проезжающий монгол вешает какую-либо тряпицу на одну из палочек. Такая горка называется «Або». Тут мы сделали привал, и немного отдохнув, тронулись дальше. До сих пор дорога не разветвлялась, но тут мы наткнулись на три развилки (разветвления). Когда мы выезжали, нас предупредили держаться левой дороги, но левая дорога была похожа на тропинку, так она заросла травой. Решили идти по средней.

Нас окружали громадные деревья, поля сплошь покрытые цветами. Дорога шла по ложбине. Очень часто приходилось пересекать ручейки. Передвигались очень медленно, часто приходилось переваливать через небольшие холмики. Все были уверены, что идем по правильной дороге — и вдруг эта уверенность пропала: дорога обрывалась, а дальше шли колоссальные валуны. Послали разведчиков. Вести пришли утешительные: дорога продолжалась за валунами, и на ней даже свежие следы от проехавшей арбы.

Три дня мы ехали, не встретив ни одного человека. Наш пес часто выгонял дичь, с шумом вылетавшую из травы.

На четвертый день нам встретился монгол, ехавший на Аршан. Он сказал нам, что до военного поста, о котором нам говорили на курорте, только несколько часов ходьбы. Не успели мы пройти и получаса, как навстречу нам попался обоз китайцев, везших на арбах громадные стволы деревьев. Они сказали, что до поста всего часа 2 ходьбы. Окрыленные надеждой на скорый отдых, мы потащились дальше. Опять подошли к развилке, но помня совет, свернули на левую дорогу. По ней шли довольно долго, а поста всё нет. Впереди мелькнули кусты, и дорогу нам преградила довольно широкая река. Китайцы ни о какой реке не упоминали. Решив, что они забыли, мы переправились на другой берег.

Переправа была очень трудной, река оказалась глубокой, доходила лошадям почти до груди. Телеги нагружались до отказа людьми, за теми, кто не мог поместиться посылались лошади, и они верхами переправлялись на другой берег.

Когда все уже были перевезены, кто-то выразил сомнение, правильно ли мы пошли по левой дороге. Решили послать двоих верхами исследовать правую дорогу. Результат был довольно плачевный: военный пост находился на правой дороге.

Военный пост представлял собою несколько китайских фанз, окруженных огородами. Там мы наняли 5 арб, запряженных быками, для тех из нас, кто шел пешком, там же нам дали проводника, который должен был довести нас до следующего поста. К вечеру проводник привел нас к развилке: одна дорога шла налево, в горы, другая — между горой и речкой. Около развилки стояла фанза, при нашем приближении из нее вышло несколько китайцев.

Было уже довольно поздно и мы, не желая ночевать в фанзе и кормить бесчисленных блох, населявших эти домики, свернули с дороги и расположились около речки. Все настроились на отдых: кто побежал за водой, кто за ветками для костра. Вдруг кто-то заметил на правой дороге монгольскую арбу, направляющуюся к фанзе. Монгол, ехавший в ней, сказал, что дорога, по которой он приехал, вела на станцию Барим. Узнав, что наш проводник уговаривал нас ехать по левой дороге, он посоветовал ни в коем случае не ехать по ней. По его словам, хозяева фанзы, около которой

мы остановились, очень плохие люди и ночью могут позвать своих товарищей, скрывавшихся неподалеку, и ограбить нас. Верстах в 10 находился монгольский город, туда-то мы и должны ехать, и как можно скорее, если не хотим попасть к хунхузам.

Вести эти нас не обрадовали. Все порядочно устали и мечтали об отдыхе. Дорога, по которой мы пошли, вилась около самой горы, скалы нависали над ней, с другой же стороны дороги неслась быстрая горная речка. Наконец мы вышли на довольно широкую дорогу. Горная тропинка осталась позади. Чувствовалось напряжение, нет-нет да кто-либо оглядывался: нет ли погони? Темнело. Отец решил пойти вперед на разведку и, взяв с собой шедшего с нами китайца, скрылся в темноте. Настроение с каждой минутой становилось всё тревожнее, дороги почти не было видно, шли, можно сказать, ощупью. На всех напало отчаяние, — и вдруг впереди блеснул свет и почти одновременно раздался лай собак. В темноте мы и не заметили как вошли в город, где нас, с карманным фонариком в руке, ждал отец. Нас сразу же провели на постоялый двор, где мы переночевали на ка-нах. На утро монголы объяснили нам, как ехать дальше. Через несколько дней, по их словам, мы должны прийти в город Хахайчин.

После нескольких дней пути, мы увидели вдалеке постройки. Домики стояли у склона довольно высокой горы, налево от дороги. Направо — текла речка. Посоветовавшись, решили сделать привал около речки. Не успели мы свернуть к ней, как увидели всадника, несущегося к вершине горы. Одновременно от избушек отделилось несколько всадников и понеслось к нам. Раздался выстрел: это нам давали сигнал остановиться. К нам подъехали 3 монгола и сказали, что мы находимся в 15 верстах от Хахайчина (или иначе Солунь), потребовали, чтобы мы отправили туда делегацию за разрешением на въезд, иначе они отказывались пропустить нас.

Монголы оказались из разбойничьего племени солонов и, как мы потом узнали, только накануне нашего приезда большая часть их отправилась куда-то, а оставшиеся не рисковали напасть на нас.

В Хахайчине решено было отдохнуть два дня. Выбрали место у реки и стали ставить палатки. Нас окружили китайцы и монголы и с интересом разглядывали как нас, так и нашу одежду. Ведь в этих местах европеец — редкость.

Так как последнее время приходилось питаться только крошками от хлеба, все с жадностью набросились на китайские пампушки и блины. В этом городе мы нашли проводника, хунхуза, с ним мой отец заключил письменный договор. Он обязался доставить нас на станцию Барим, папа же — уплатить ему по прибытии туда 200 рублей. Этот оригинальный документ до сих пор хранится у нас.

Мы должны были ехать некоторое время с почтовой повозкой. Это была маленькая двуколка, крытая цыновкой и запряженная двумя ослиами. В ней с невозмутимым видом и с мундштуком в зубах, сидела пожилая монголка. Ослы вели монгольский солдат. Всю дорогу он шел пешком, так как двуколка слишком мала, чтобы вместить двоих. Так они и путешествовали — женщина и солдат.

Вскоре пришли в большой китайский город Ван Фу. Отдохнув немного, отправились дальше. Деревья уже не попадались, всё голая степь. Вот подошли к разлившейся и вздувшейся реке. Когда-то над ней был мост (связанные между собой бревна), но разлив снес его и поставил наискось, так что с той и другой стороны реки было пространство сажени в две-три, которое надо было пройти вброд, прежде чем вскарабкаться на него. Переправа заняла целый день. На следующий день двинулись дальше. Опять бесконечная степь. Вдруг кто-то заметил вдали еле различимую точку. Точка эта двигалась и было что-то похожее на дым. Поезд! Трудно описать радость охватившую нас, все заторопились, засуетились. На всех лицах появились улыбки.

Вот уже ясно стали видны телеграфные столбы. Наконец показался и поселок. Оказалось, мы вышли на Фулярди, вместо Барима. На станции мы вызвали переполох: нас, потеряли и склонны были считать погибшими. Наш проводник хунхуз честно выполнил договор, с ним расплатились, и он исчез.

Выяснилось, что Хинган не взорван. Красные собирались его взорвать, но, к счастью, это им не удалось.

И так, наше путешествие закончилось. Мы побывали там, где не ступала нога европейца. Где-то там, далеко в лесу, вырезали на громадном дереве дату нашего путешествия и наши инициалы. Когда их найдет европеец, да и найдет ли?



ВЕРА ДАНИЛОВА

МОЕ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С МИРОМ

В поисках невозвратного детства

Был 1920 год. Окончилась Первая мировая война. Простумела русская революция и стихия гражданской войны вынесла мою семью на берега Адриатики, прямо в старинную Рагузу — чудный Дубровник.

Нас было четверо: отец, мать, четырнадцатилетняя сестра Кира и я, шестилетняя Вера.

Родилась я в канун Первой мировой войны, в конце 1913 года. Первые мои годы жизни протекали в тяжелое и бурное время и я со своей родины несла только несколько отрывочных, бессвязных картин.

И так случилось, что сознательно мои глаза открылись и начали вбирать впечатления именно здесь — в Дубровнике.

И тут начинается сказка моего детства...

Мы снимали маленькую квартирку, состоявшую из одной комнатки и кухни, на Лападе — в предместьи Дубровника. Квартира была почти пуста. В комнате — три железных «военных» кровати и тахта из деревянного табачного ящика, шкафа не было — одежда висела на стене, аккуратно покрытая простыней. В кухне — буфет, также сделанный из табачных ящиков пирамидально поставленных: два внизу, один наверху — с полочками и занавесками, вышитыми заботливыми руками моей матери, стол, четыре стула

и плита, названная за свой облик «Карета», как источник нашего питания и символ домашнего очага.

И ничего больше.

Но, удивительно! Я вообще не сознавала этой нищеты, окруженная горячей любовью своих родных. Того, что мы имели на родине — я не помнила, а лучшего — не видела, и мне было хорошо.

Наша квартира выходила на просторную каменную террасу, которые не являются редкостью в приморских городах. Она была, как и квартира, на первом этаже, прохладная, вся заросшая выющимися растениями, с колодцем для дождевой воды посередине. Ничего прекраснее этой террасы до того времени, да и до сих пор, я не видела. Днем она была залита солнцем — ярким, золотым, таким никогда еще в жизни не виденным. А вечером, когда спускался сумрак и зажигалось бесчисленное множество звезд южного неба, также никогда еще не виденного и до тех пор не осознанного, она вся дышала опьяняющим запахом сосен, олеандр и всяких тропических растений, росших кругом. Тогда мы все, дети и старшие, родители и соседи, усаживались на каменную скамью, которая тянулась вдоль всей террасы, и пели песни нашей далекой родины, а я уже наполовину заснувшая, положив голову на колени матери, слушала их с закрытыми глазами.

По утрам отец уходил в город искать работу, а мать, сестра и я шли в ближайший лесок собирать шишки и сухие сосновые ветки для плиты и самовара, без которого мы тогда еще не могли представить жизнь. Эти наши «деловые» походы были чудесны. Времени мы имели сколько угодно. Не имея денег, мы не имели забот с покупками. Мы, собственно, получали небольшую сумму денег, как помощь беженцам, которая нам как раз хватала на квартиру и необходимую для жизни еду. Одежду нам шила и переправляла из старого мать, а я и сестра ходили босиком, благодаря теплему климату.

Когда мы набирали достаточно душистых шишек и ветвей, мы относили их домой и оставляли мать варить обед, а сами снова отправлялись «на промысел». Иногда это была рыбалка, нам удавалось поймать несколько маленьких рыб, которых нам мать сейчас же жарила. Позднее я узнала, что

местные жители вообще не едят этих рыб — это были «бычки» — но мы их ели с удовольствием.

Иногда мы вылавливали из моря полуразбитый ящик с апельсинами, вероятно выброшенный с какого-нибудь корабля. Почти все апельсины бывали попорчены, но всегда находилось несколько хороших, которые мы съедали, и это было ново и необычно. Апельсины, выловленные таким образом, даже если и сохраняли свой вид, были немного соленые и горькие на вкус от морской воды, в которой они неизвестно сколько времени находились, но нам с сестрой это нравилось. Мы воображали корабль, нагруженный апельсинами, который попадает в бурю, а немилосердные пираты его преследуют и... так апельсины попадают в воду, а мы их вылавливаем! Ящик мы относили домой на сожжение. И сейчас часто вспоминаю эти счастливые, беззаботные дни моего детства! Чудесный климат, прекрасная природа... я не знала ничего о заботах взрослых, я впервые осознавала жизнь и всё около меня было полно чудес.

Я была счастлива.

Однажды, после обязательного собирания дневной порции шишек, мы с сестрой отправились в обход Лапада. Шли мы узенькой дорожкой по берегу моря, между густых зарослей тропической зелени.

Была тишина, солнце, цикады и опьяняющий запах разогретых на солнце растений.

Вдруг из-за поворота, уже далеко от какого-нибудь жилья, появился в глубине густого сада, белый двухэтажный дом.

Всё было тихо, пусто, нигде ни души.

Мы перелезли невысокую каменную ограду и спрыгнули в сад. И тут нас ждала неожиданность — нас запахнул дивный запах... ландышей! Мы подошли ближе. Всё пространство перед домом было покрыто белым ковром расцветших ландышей. Это было как в сказке — замок спящей красавицы. Мы подошли к окнам дома, заглянули — никого и ничего. Комнаты совершенно пустые, ярко солнечные под плохо спущенными жалюзинами. В углах паутина, на полу тут и там камни, всюду залежи пыли. Мы обошли все эти солнечно-пыльные комнаты, их было несколько на первом

и втором этажах, а всё пусто, открыто. И так это сделался наш таинственный замок.

Мы никому о нем не сказали. Долго мы приходили сюда, каждый день, играть в «Спящую красавицу», которой была то сестра, то я. В саду много деревьев. Особенно нас поразило какое-то дерево с красными плодами, сладкими и вкусными, похожими на клубнику. Мы называли эти плоды «манго». Конечно, мы не выдумали это название — мы его, вероятно, слышали. Кроме этого «манго», были еще в саду и апельсиновые деревья, с прекрасными золотыми плодами и, в то же время, душистыми цветами. Мы набрали этих апельсинов и победоносно отнесли их домой. Но увы! когда мы их начали есть — наше разочарование было ужасно — они были совершенно горькие, сто раз более горькие, чем те из моря; их вообще нельзя было есть — они были дикие.

Долго мы еще играли в «таинственный замок» и приносили домой букетики ландышей. Позднее мы переселились в город, так как должны были пойти в школу. Так мы с сестрой навек расстались с нашим «замком».

Много лет спустя, уже замужем, полная чудесных воспоминаний детства, попробовала я разыскать тот белый дом с его ландышами, солнечными комнатами, тишиной, цикадами... и не нашла его.

Ни «манго» — деревьев. Вообще ничего. Не знаю почему. Может быть я их больше вовсе не узнала...



Е. Н. АЛЕКСАНРОВСКАЯ-ИВАНОВА

АВТОБИОГРАФИЯ

Воспоминание с детских лет до 97-го года моей жизни, в которой я еще здравствую. Я Александровская-Иванова, Елена Николаевна. Родилась в 1872 году в старинном городе Козельске. Мне было пять лет, когда Россия вела войну с Турцией в 1877—78 гг., и по нашему городу ходили пленные турки.

В полутора верстах находился монастырь «Оптина Пустыня». Туда я с матерью часто ездила. Недалеко находился женский монастырь «Шамординский», в котором настоятельницей была сестра Л. Н. Толстого.

В Харькове я училась в пансионе, потом в Петербурге меня определили в прогимназию на стипендию Принцессы Датской Догмары.

На Рождество приезжали в прогимназию Государь Император Александр III с Государыней Императрицей Марией Федоровной. На елке Государыня раздавала нам подарки.

В 1894 г. я окончила Фельдшерско-акушерские курсы и поступила в Добровольный Флот. Вскоре я окончила курсы Сестер Милосердия при Главном Управлении Красного Креста. В 1894 и 1896 гг. я приняла участие в двух кругосветных плаваниях на пароходах Добровольного Флота. Третье плавание было из Одессы до Владивостока с заходом в Порт Артур.

В 1922 г. выехала я с сыном в Харбин (Китай), где работала фельдшерницей в Общине Сестер Милосердия Красного Креста. За пятидесятилетнюю работу я награждена нагрудным Крестом Святой Марии Магдалины на Андреевской ленте. Я покинула город Харбин и приехала в 1959 году в Бельгию. С 1963 г. живу в доме Св. Николая Чудотворца, окруженная заботами администрации. За мою долгую жизнь я сделалась свидетельницей восьми войн: русско-турецкой, англо-бурской, японо-китайской, «боксерской», первой и второй мировых и затем войны в Корее в 1950—1952 гг.

Теперь чувствую себя хорошо, ежедневно гуляю, много читаю.

МАРГАРИТА ШАМРАЙ

ПОД ВОЙ ПУРГИ

— Ну, мне пора, — сказала Людмила, снимая с крючка дустволку.

Отец, поправляя дочери рюкзак, давал последние наставления:

— Будь осторожна, тайга — есть тайга, да что говорить, сама знаешь. Постарайся вернуться не позже субботы.

— Постараюсь, папа, — ответила девушка и, цыкнув на скуливших от нетерпения собак, вышла.

Заложила два пальца в рот и, по-мальчишески пронзительно свистнула. С другого конца улицы отозвались.

— Руфина ждет меня, папаня, — проговорила становясь на лыжи, махнула рукой и заскользила по снегу. Собаки с воем бросились вслед.

«Ошибка природы, ей бы мальчишкой родиться», — любясь уходящей дочерью подумал Николай Алексеевич, и вошел в дом.

Светало. В морозном тумане вырисовывались силуэты сопок. Вдали, на перекрестке дорог, показалась фигура на лыжах, с рюкзаком и ружьем за плечами. Возле нее вертелся большой пес.

— Ты что так поздно? Я уже думала ты не придешь, — вместо приветствия сказала Руфина. Людмила засмеялась.

— Как видишь — пришла. Ну что, всё в порядке? Как мать?

— Да ну ее, ты же знаешь, отец молчит, а она «зачем» да «куда», да «места вам», дескать, «мало здесь, в тайгу не легкая несет» — еле ушла.

Девушки, болтая, двинулись по направлению к реке. Собаки, забегая вперед, часто останавливались, радостно поглядывая на хозяек.

— Нам повезло, солнечный и тихий день будет, к вечеру дойдем до зимовья, — с видом знатока сказала Людмила. — Ты увидишь, какая там красота! Тихо, торжественно, вокруг — ни души, кедры высокие, не такие как здесь, а кажутся до неба достают. Я часто в тайгу хожу, люблю ее, ты вот впервые идешь, тебе может и страшновато, но узнаешь — и ты полюбишь.

Спустившись к реке они прибавили шагу, быстро удаляясь от поселка.

**

Еще солнце не скрылось за сопками, а девушки уже приближались к зимовью.

— Скоро будем на месте, чайку согреем, пельмешек сварим, отдохнем, а завтра ходим, постреляем, — подбадривала Людмила уставшую подругу.

Но неожиданно получилось всё иначе. Когда девушки подходили к избушке, бежавшие впереди собаки вдруг остановились и зарычали. Остановились и девушки.

— Что это? Зверь какой? — тихо спросила Руфина.

— Нет, похоже что человек, — так же тихо ответила Людмила, указывая на следы и, сняв с плеча ружье, крикнула: — Эй, есть там кто-нибудь?

Никто не отвечал.

— Возьми собак на поводки, — сказала Руфине, подходя ближе к избе и, не получив ответа на второй окрик, открыла дверь.

В первый момент она ничего не могла разглядеть, но когда глаза привыкли к полумраку, увидела на полу человека. Подошла, наклонилась над лежавшим. Худое, заросшее лицо. Потрогала голову — горит.

— Иди сюда! Здесь человек без сознания, — позвала она стоявшую у двери подругу. — Давай попробуем положить его на нары.

Девушки с трудом уложили на наспех приготовленную постель исхудалое тело незнакомца. Зажгли свечу. Тусклым мигающим светом осветило избушку. Руфина с любопытством осматривалась, в то время как Людмила разбирала рюк-

зак. Собаки лежали у порога, следя за каждым ее движением.

— Помоги мне, затопи печку, дрова должны быть там, — указала Людмила в темный угол. — Хорошо, что я аспирин взяла, нужно согреть чаю и дать ему выпить, — она быстро подошла к застонавшему на постели человеку. — Потерпи, дружок, — проговорила, положив руку на голову.

Незнакомец что-то бессвязно бормотал..

«У него бред, температура высокая, хотя бы не было воспаления легких. Кто он и как попал сюда? И худой какой, оборванный, в тайгу так не ходят», — пронеслось в голове Людмилы.

Весело затрещали дрова, разливая по избе приятное тепло. Вода вскоре закипела. Настрогав кирпичного чаю, она приготовила крепкий напиток, бросив туда две таблетки аспирина и влив спирта. При помощи подруги, медленно, ложкой за ложкой, вливала живительную влагу в рот больного. Через некоторое время дыхание больного стало ровнее.

— Ну вот, не мешало бы теперь самим подкрепиться да и собак покормить.

Руфина, устав от ходьбы и новых впечатлений, ела мало, ее клонило ко сну. Людмилу же не оставлял хороший аппетит, и она, подшучивая над подругой уминала за двоих.

— Ешь! В тайге нужны силы, а ты киснешь. А из охоты нашей ничего не получится, нужно отхаживать больного. Как ты думаешь — кто он такой?

Руфина пожала плечами.

— А я не знаю.

После ужина девушки как могли устроили себе постель и Руфина быстро уснула.

Людмиле не спалось. Возобновившийся бред больного заставил насторожиться: «следователь», «допрос», «карцер» — вот оно что! Не иначе, как бежавший заключенный. Что он сделал? Почему был сослан? Убил кого? Или может он шпион? Враг народа, о которых так много говорят на комсомольских собраниях. Она терялась в догадках... Невольно вспомнилась Москва, 1937 год, всё в слезах лицо тети Нины. Людмила не знала, что случилось, ей не говорили, только сказали, что дядя Леня очень болен, его забрали в больницу. Вскоре после этого она уехала с отцом на Дальний

Восток, где он получил место главного инженера. Мать осталась в Москве. Только в дороге отец рассказал Людмиле правду о дяде Лене — его арестовали ни за что и сослали без права переписки — да разве его одного?! Она задумалась. Может быть этот человек так же невинен, как дядя?.. Напоив еще раз больного, она собиралась прилечь, как он вдруг очнулся и, пробуя встать, поднял голову. Людмила быстро подошла.

— Вы лежите, нельзя вставать, у вас температура, — сказала ласково.

— Кто вы? — спросил он слабым голосом, испуганно глядя на нее. Взялся за голову, как бы что-то припоминая. На лбу выступил пот, глаза блуждали. — Кто вы?!

— Я — ваш друг, но это не важно, спите спокойно, мы поговорим завтра, ложитесь.

Он замолчал. Выпитое лекарство оказало действие, и он вскоре заснул.

«Спит, — подумала Людмила, — это хорошо. Значит, нет ничего опасного, простая простуда, завтра ему будет легче. Какие у него большие, испуганные глаза; он никак не похож на преступника, и молодой какой».

— Кучум, — позвала она собаку.

Умный пес подбежал, заглядывая в лицо хозяйки.

— Я лягу, а ты смотри, чтобы он не ушел, сторожи, — она гладила его косматую голову, а он тихонько повизгивал, как бы давая свое согласие.

**

Второй день мела пурга. Завывала ведьмой вокруг одинокой избушки, затерянной в далекой тайге. Шумели кедры-великаны, защищая ее от порывов свирепого ветра своими могучими шапками. Внутри избушки было тепло и уютно. За грубо сбитым из досок столом — сидели трое. Сергей, молча уставился в стоявшую перед ним кружку. Завтра суббота, завтра девушки должны быть дома. Людмила сидела мрачная, напрягая мысли, поглядывая на сидевшего перед ней человека, еще недавно совсем незнакомого, но за эти дни ставшего близким. За короткое время железный организм Сергея переборол болезнь и он быстро поправлялся,

благодаря заботам девушек. Родная мать не проявила бы больше заботы, и Сергей, повинаясь импульсу, рассказал всё, всю правду кошмара, пережитого им за последние пять месяцев. О том, как сначала арестовали его отца, видного научного работника, а затем и его, работавшего в то время над защитой диссертации, предъявили ему обвинения в преступлениях, которых он не совершал, приговорили к десяти годам концлагеря и вывезли на Дальний Восток, где он строил железную дорогу в ужасных условиях. Ему и еще одному из заключенных удалось бежать, но его друг по несчастью замерз в тайге, не перенес голода и холода и уснул, чтобы никогда не проснуться. Как Сергей один пробирался сквозь тайгу, гонимый жаждой свободы и, если бы не девушки, ему так же грозила верная смерть. О судьбе отца он ничего не знал, но думает, что он погиб. Людмиле было известно имя отца Сергея по научным статьям; она ни на минуту не сомневалась, что Сергей рассказал ей правду и ее желание помочь ему крепло с каждой минутой. Но как? Этот вопрос оставался без ответа и всё, что приходило ей в голову, отбрасывалось. Единственная мысль, как ей казалось, самая правильная — рассказать всё отцу. Отец для Людмилы — был не просто отец, а друг, с которым она привыкла делиться всем с самого раннего детства. В данном случае она понимала, что поверяя отцу эту тайну, она подвергнет его большой опасности, но другого выхода она не нашла.

— Думать больше нечего, время идет, а мы толчемся на месте. Я должна поговорить с отцом, — сказала она решительно, вставая из-за стола.

— Но ведь я не могу допустить, чтобы вы его и себя подвергали опасности. Да в такую пургу идти тоже опасно, — запротестовал Сергей.

— Ничего не опасно. Сидеть и ждать — гораздо опаснее, — уверенно сказала Людмила, — а то что метет — это лучше, меньше возможности, что кто зайдет сюда. Продукты у вас есть, а через два дня я вернусь. Только не сделайте глупости и не уйдите, ждите меня. Договорились?

Сергей, почувствовав бесполезность возражений, молчал. Девушки быстро собрались.

— Берегите себя, ведь если с вами что случится — это будет для меня хуже всякой каторги, — тихо проговорил Сергей, сжимая крепко руку Людмилы на прощанье.

Оставшись один, он долго стоял у намерзшего толстым слоем льда оконца, а мысли кружились вокруг девушки, упрямо шагавшей сквозь тайгу, бушующую снежным ураганом.

**

За окном, не переставая, мела пурга, загоняя всех в теплые избы. Отец и дочь до позднего вечера сидели, закрывшись в комнате. Людмила, свернувшись калачиком в большом отцовском кресле, рассказывала о случившемся на зимовье. Николай Алексеевич слушал дочь внимательно, изредка перебивая вопросом.

— Ну вот, теперь ты знаешь всё и должен помочь, — закончила она свой рассказ.

— Мм-да! Сложная история! Ты, не подумав, затеяла серьезное и опасное дело. Учти то, что кроме тебя замешана Руфина, вдруг она проболтается. Последствия тебе должны быть известны, — Николай Алексеевич строго посмотрел на дочь.

— За Руфину я ручаюсь, папа, она не проговорится, а больше никто ничего не знает. Человек мне доверился, он невиновен, я обещала ему помочь, он ждет меня, я же не могу оставить его на произвол судьбы! — она горячилась.

— Ты подожди, — остановил ее отец, — спокойней, я ничего не имею против того, чтобы помочь Сергею, я знал его отца, но пойми то, что это не так просто, как ты думаешь. Единственный выход для него — уйти за границу. Но сейчас это трудно, зима, сам он, не зная тайги, погибнет, — он задумался. — А что если посвятить в это дело Учуга, попросить его, он, пожалуй, единственный, кто может помочь.

— Конечно, как я сразу не подумала! — заволновалась Людмила. — Конечно он поможет.

— Посмотрим, а пока иди отдохни, уже поздно.

Никто так не знал этот край, как старый гольд Учуг, который всю свою жизнь провел в тайге, был отличным охотником, ходил много раз в Китай и Монголию, меняя там пан-

ты и пушнину на продукты и охотничьи припасы. Теперь этим зарабатывал на еду и табак. Его знали все в округе, уважали, как опытного охотника и любили, как доброй души человека. К нему и направились Николай Алексеевич и Людмила.

**
*

Еще было совсем темно, когда отец разбудил Людмилу.

— Вставай, пурга немного улеглась, чем раньше мы выйдем, тем лучше. Вот здесь белье и теплая одежда для Сергея, уложи.

Людмила через несколько минут была готова. Наскоро позавтракав они двинулись в путь. Пурга почти стихла и только изредка проносились порывы ветра. Отец не отставал от дочери, несмотря на свой преклонный возраст. Еще издали зоркие глаза Людмилы заметили дым, как бы выходивший из сопки.

— Мы уже недалеко, хотя бы он был дома! — вслух подумала она.

Чем ближе они подходили к жилищу гольда, тем больше она волновалась.

Старый Учуг с распростертыми объятьями встретил неожиданных гостей. Его узкие глаза радостно заблестели.

— Ох-ох! Какой важный гость пришел! Иди, старуха, смотри, Милыка пришел! Никак не жидали, — он долго тряс им руки, сияя всем своим существом.

Учуг любил и уважал Николая Алексеевича и Людмилу, гордился дружбой, которую ему оказывал «большой начальник», а они, в свою очередь, никогда не проходили мимо избышки Учуга, не проведая его и не оставив подарков в виде табака, чая, сахара, а иногда и охотничьих припасов. Старый гольд был предан им всей душой и, с детской искренностью, радовался встрече.

Поговорив немного об охоте, Николай Алексеевич перешел к вопросу, который его волновал.

— Я к тебе по очень важному делу, Учуг, мне нужна твоя помощь, — сказал он серьезно.

Улыбка сошла с лица гольда и, сделав жене знак рукой, чтобы она удалилась, он вопросительно смотрел на собеседника.

Николай Алексеевич заговорил тихо, почти шепотом. Гольд внимательно слушал его, не перебивая и не задавая вопросов. Когда он закончил, Учуг, подумав секунду, протянул свою шершавую руку.

— Ты хотел его на ту сторона — я прынэсу его. Твой друг — мой друг. Учуг такой дорога знает — ныкто нэ знает. Учуг пойдет, — сказал он уверенно.

Николай Алексеевич крепко пожал протянутую руку и дружески обнял за плечи старого гольда.

— Спасибо, старина! Я тебе этого никогда не забуду. Ну что? Пойдем? — обратился он к Людмиле. — На зимовье Учуг дорогу знает, он сам сделает всё, что нужно.

— Я обещала, что приду, папа, ведь он Учуга не знает, как он может ему довериться? Я должна пойти, не сердись, — она умоляюще смотрела на отца.

— Ну, шут с тобой, иди, — махнул рукой Николай Алексеевич, только смотри, осторожно.

Через некоторое время Людмила и гольд уходили в направлении зимовья, а Николай Алексеевич возвращался домой.

**
*

Людмила и Учуг быстро скользили по склону сопки, умело лавируя между деревьями. Людмила любила такую ходьбу, она могла днями пропадать в тайге, любуясь красотой ее зимнего наряда. Сейчас же она ничего не замечала, все ее мысли перенеслись в избушку, где ее ждал человек, судьба которого в данный момент ее интересовала больше всего. Скорее! Скорее!! Уже осталось только перейти через перевал. Она не замечала усталости, хотя рюкзак и ружье больно врезались в плечи, а на губах ощущались соленые капельки пота, несмотря на мороз. На гору идти стало труднее, но она старалась не отставать от Учуга, который шел впереди, прокладывая лыжню. Взобравшись на сопку, они вновь вихрем понеслись вниз. К избушке подходили с обратной стороны. Вот она, совсем близко, но как заброшено она выглядит, ни света в окне, ни дыма из покосившейся трубы! Сердце больно екнуло.

— Мне кажется, что-то случилось, — сказала она с тревогой в голосе.

Гольд понял опасения Людмилы. Сняв с плеча ружье, сделал знак идти за собой. Шел медленно, разглядывая по сторонам. Приблизившись к двери, осмотрел следы на снегу,

— Плохо. Смотри, два на лыжах — один пэшком ходыл, только-только пошлы, — сделал он свое заключение.

Людмила бросилась в избушку. Молча смотрели на нее холодные стены. На столе валялись пустые консервные банки и окурки папирос. Пахло дымом. Всё было понятно. Сергея увели!

Сбросив ружье и рюкзак, она села возле стола, закрыв лицо руками. Учуг стоял возле молча, не зная что сказать. Затем вышел и, через некоторое время, вернулся с охапкой сучьев, затопил печку. Людмила тяжело поднялась.

— Ты, Учуг, иди домой, я сама здесь останусь, мы опоздали, его увели. Не сердись, мне хочется быть одной, понимаешь меня? — обратилась она к гольду. — А там заberi одежду, которая была приготовлена для Сергея, она ему больше не нужна; а ведь он невинен, Учуг, — слезы сдавили ей горло.

— Милыка, оны нэ ушел далеко, Учуг следом пойдет, забрать будет, — пробовал утешить ее гольд.

— Оставь, Учуг, теперь поздно, они и тебя арестуют и Сергея ты не поможешь, все напрасно.

В ее воображении рисовались картины одна ужаснее другой. Она представляла, как Сергей, изнемогая, идет по тайге, проваливаясь в глубоком снегу, то она видела его окровавленного на полу камеры, то — как его ведут на расстрел.

— Сережа! — со стоном вырвалось у нее. — Прости меня, это я виновата, что оставила тебя здесь; почему сразу не догадалась пойти к Учугу, он бы нам помог. Ты ушел в тайгу, доверился ей, искал у нее защиты, а она не спрятала тебя, выдала!

Людмила не слыхала, как Учуг еще раз выходил из избы, не видела, как с решительным видом проверив ружье, заменил патроны, забрал вещи, предназначенные для Сергея и вышел, плотно прикрыв дверь. Она целиком отдалась своему горю. Она не знала, сколько времени просидела, но когда подняла голову, уже было совсем темно, в избе ничего не было.

«Учуг ушел», — безразлично подумала Людмила. Пошарила в кармане, достала спички, зажгла огарок свечи. Всё это делала машинально. Посмотрела по сторонам, как будто всё это видела впервые. За окном завывал ветер, шумели кедры. Снова мела пурга.

**
*

Николай Алексеевич, вслушиваясь в завывание ветра, с тревогой ожидал возвращения дочери, нервничал, мысленно ругал себя, что уступил ее просьбе. Кучум, любимец Людмилы, ходил грустный, с перчаткой хозяйки в зубах, тихонько скуля, как бы спрашивая: «Где она? Почему не идет?»

Начинало темнеть. Вдруг собака насторожилась и бросилась к двери. Николай Алексеевич поспешил за ней. На пороге, вся в снегу, стояла Людмила.

— Наконец-то! — радостно воскликнул Николай Алексеевич. — Я так волновался, что ты стоишь? Проходи, рассказывай, как там?

— Папа, мы опоздали! Его увели! — не своим голосом сказала Людмила и, с трудом сдерживая слезы, упала отцу на грудь.

— Бедная, бедная моя девочка!

Он вытирал мокрое от слез и снега лицо дочери, не находя слов утешения. Он и сам жалел Сергея.

**
*

Для Людмилы потянулась вереница тяжелых, безрадостных дней. Она не могла забыть Сергея и обвиняла себя в случившемся. Как ни старался отец доказать ей, что они сделали всё, что было в их силах, для его спасения — ничто не помогало. Она ходила грустная, задумчивая. Ее лучшая подруга, Руфина, с которой она могла беседовать о Сергее, вспоминать вместе проведенное, короткое время, Руфина, от которой у Людмилы не было секретов, уехала с родными в Иркутск, куда был переведен ее отец. Людмила осталась одна.

Прошло около двух недель. В поселке было созвано внеочередное комсомольское собрание. Секретарь был очень взволнован.

— Товарищи, — начал он свою речь, — вчера, в тайге, были найдены трупы наших сотрудников милиции, зверски убитых врагами народа при исполнении служебных обязанностей. Мы должны быть бдительны! Враг не спит!..

Людмила дальше не слушала. В голове роем закружились мысли, она чувствовала, что это связано с Сергеем, но не понимала — как. С трудом дождавшись конца собрания, она побежала домой. Отец уже знал о случившемся.

— Я не думаю, что это имеет какую-либо связь с Сергеем. Учти то, что, помимо Сергея, заключенные убегают, некоторые даже достают оружие. В нашем районе есть несколько таких рабочих лагерей. Это просто совпадение, — уверенно сказал отец, на догадку дочери.

Вспыхнувшая маленькая надежда угасла. Проходили дни... недели. В поселке готовились к встрече Нового года. Отец принес маленькую елочку и, стараясь отвлечь дочь от грустных мыслей, помогал украшать ее, рассказывал эпизоды из своего детства: как ходил колядовать с друзьями, как гадали под Новый год.

Ильинишна, маленькая хлопотливая старушка, которая вела всё хозяйство в доме Николая Алексеевича, возилась на кухне, пекла пирожки, коржики, пряники. Весь дом наполнился ароматом ее печива.

За окном, как и в ту роковую ночь, мела пурга. Закончив уборку, они уже собирались ложиться, как в дверь постучали. Отец и дочь переглянулись. Николай Алексеевич пошел открыть дверь.

— Учуг! — он почти втащил в дверь позднего гостя. — Учуг! В такую пургу, ночью здесь!? Что случилось? — он был удивлен и встревожен появлением гольда в такое время.

Гольд, сняв ружье, смущенно мямлил шапку, поглядывая на мокрые следы на полу. Затем отвернул полу куртки, долго рылся в ней и, наконец, протянул Людмиле кусок бумажки, сказав:

— Тэбэ, Милыка, велели давать.

Людмила, побледнев, взяла из рук гольда бумажку, развернула и вскрикнула.

Николай Алексеевич вопросительно смотрел на дочь.

— Я так и знала! Так и знала! — она протянула бумажку отцу, бросилась к гольду и, обняв его за шею, поцеловала в щеку.

— Учуг! Милый, хороший Учуг! Боже мой, как же это ты??? — слезы радости катились по ее щекам. Дрожащими руками она старалась стянуть с гольда мокрую от снега куртку. — Как же это ты???

Гольд еще больше смутился.

— Тайга взял — тайга отдал. Учуг слово давал.

Тем временем Николай Алексеевич читал:

«Спасибо за всё. Никогда не забуду. Прощай моя маленькая, героическая Людмила.

Сергей».

Нью-Йорк, 1964 г.



ТАМАРА ВЕЛИЧКОВСКАЯ

О ДОБРОЙ ЗМЕЕ

Что понимают взрослые в тех радостях, которыми наполнен каждый день ребенка летом в деревне? .. Детям не нужно привыкать к деревенской жизни. Они в нее с восторгом сразу погружаются. Как бы возвращаются к привычному и дорогому, даже если они родились в городе и деревни никогда не знали. В деревне у детей нет врагов. Правда, встречаются иногда злые собаки, но они на цепи и дети их не очень-то боятся. Ведь псы только притворяются злыми, по обязанности. Есть и еще враг — крапива. Но дети заключают союз и идут на нее в поход. Они вооружены длинными палками и злой крапиве плохо приходится, когда рассвирепевшие воины рубят ее с плеча.. Хотя долго потом почесывают голые загорелые ноги и руки.

Если в кусте что-нибудь зашуршит, то взрослый пройдет мимо, не заметив или даже с некоторой опаской: а кто его знает, что там спряталось... Но ребенок непременно захочет узнать причину шороха, потому что это может быть ящерица — ее очень весело ловить, иногда она даже теряет хвостик. А бывает что в кустах — крот, или уж, или птица, или, о радость! — ежик. А что может быть лучше настоящего живого ежа, который пыхтит как маленький паровоз, подпрыгивает колючим шариком или доверчиво пьет подставленное молоко?

А удовольствие бегать под проливным дождем! Большие от него прячутся, но если бы они только знали, как чудесно постукивают прохладные капли по голому горячему телу. С головы течет, трусики намокают как от купанья... А как замечательно поется и кричится в лад с шумом ливня. А ощущение теплой мягкой грязи, вкусно пролезающей между пальцами босых ног. А брызги, которые высоко взлетают, если бегаешь по лужам... Большие лужи — почти маленькие озера.

Нет, взрослые многого не понимают. Не знают они также и удовольствия скатиться на боку по склону холма, поросшего мягкой травой. А вот собаки это понимают.

Несколько лет подряд, во время летнего отдыха, я встречалась с моими маленькими друзьями: Николкой, Аликом и Бобкой. Мы живем по соседству и встречаемся каждый день. Однажды я подслушала разговор Бобки и Алика. Так как Бобка еще совсем маленький, а Алик на год старше, то он разговаривает с братом покровительственным тоном, как раз так, как говорит с Аликом старший брат — Николка.

Спускался вечер. Дети только что полили свои грядки и любовались как ожили их цветы.

— А ведь цветочкам больно, когда их рвут, — сказал Бобка.

На что Алик солидно возразил:

— Потому их и не надо рвать, а срезать... Вот когда тебя тянут за волосы и вырывают их, то больно, а когда ножницами, то совсем незаметно... Или вот как ногти стригут...

Есть в нашей дачной местности речонка Виона. В некоторых местах она до того мелка и узка, что даже Бобке не

дошла бы до коленок. Зато возле деревушки Аблеж она расширяется, углубляется, синеет и делается такой прелестной, что ивы, залюбовавшись ею, склоняются так низко, что их зеленые кудри падают в воду. А весь берег порос тростником, мятой и медуницей. А в воде снуют темные рыбки...

Однажды мальчики пошли туда на рыбную ловлю, но просидев несколько часов на берегу, ничего не поймали и вернулись домой очень рассерженными. В неудаче все обвиняли друг друга. Виноват Бобка, потому что шалил и дергал удочку; виноват Алик потому, что слишком горланил на берегу, а рыба шума боится; виноват и Николка, из-за которого пришлось вернуться домой раньше времени, так как он забыл захватить с собой съестные припасы. А рыба, может быть, как раз начала бы клевать.

На следующее утро Николка встал рано и не разбудив братьев отправился сам на речку. К завтраку он возвратился не без улова — поймал сачком двух маленьких, как спички, рыбешек. И так ему было их жалко, что есть их он не захотел, а отдал матери со словами — «пусть они едят», кивнув в сторону братьев. На бедных рыбок он старался не смотреть, боялся заплакать. Но рыбки подрумянились на сковороде и вкусно запахли. Алик и Бобка съели по рыбке. Тогда Николка шепнул матери:

— Дай мне только жареного маслица.

В деревне характеры детей яснее проявляются. Николка — садовник, земледelec; немножко поэт. Алик — естествоиспытатель и укротитель. Бобка еще ни то, ни се, но от всего понемножку, даже от философа.

Оттого самая лучшая грядка у Николки. Цветов больше, чем у братьев, и вытягиваются они выше. Салат и редиска почти такие же, как у папы.

А у Алика быстрые и ловкие ручки. Никто не может поймать так искусно ящерицу или кузнечика. Однажды мальчик мне показал свою добычу. В коробке безнадежно шуршала и копошилась масса каких-то жучков, кузнечиков и букашек, крылатых и ползучих.

— Бедные! — сказала я. — Как им тесно и как хочется на волю.

Алик на минутку задумался и вдруг решительным жестом опорожнил всю коробку в траву. Это, впрочем, не помешало ему на другой день снова «охотиться».

А маленький Бобка очень чувствителен. Легко обижается, но и легко забывает обиды. Братья его дразнят плаксой. Его любимая игрушка — коробка цветных карандашей (до красок еще не дорос), и он часами рисует домики с дымящимися трубами, цветочками выше домиков, с обязательными пятью лепестками. Причем каждый другого цвета и все кривые. Потом на бумаге появляется какое-то подобие горизонтального огурца с кружком на одном конце, с крючком на другом и на четырех спичках. Смотря по вдохновению, это называется то собачкой, то лошадкой, то птичкой. А если огурец торчит вверх — две палочки вниз, две по бокам, то это папа, или мама, или он сам.

Я всегда угадываю, кого изображает очередной огурец. Если от кружка идут вверх спиральные линии, не то дым, не то штопор — то это мама, у нее вьющиеся волосы. А если над кружком не то нимб, не то ёжик — то это папа. Я понимаю, ребенок изображает свой детский рай. Он прост, как и подлинный рай: солнце, зелень, цветы, друзья-животные, любовь к матери и отцу и веселая возня с братьями. Древо познания добра и зла еще не очень развесисто. Но искушения уже существуют, как, впрочем, и следует в раю... Была даже своя змея. Но об этом надо рассказать подробнее.

Райская летняя жизнь заканчивается в сентябре. Солнце теряет силу и позже вставая, раньше ложится. Оно устало — столько поработать за лето не шутка! На смену ему приходят всклокоченные тучи и заливают землю дождем, а небо — серой мутью. Дети, птицы и деревья знают, что им пора расставаться. Детей ожидает переезд в город, учение, дом. Птицы собираются в теплые края, а деревья и цветы готовятся к долгому зимнему сну, пока их не разбудит весенний ветер.

**
*

В пасмурный осенний день вся семья расположилась в поезде, едущем в Париж. Вещей много, да ведь столько душ! Чемоданы, рюкзаки, тюки, корзинки... На ходу, при повороте, вьюк с постельными принадлежностями свалился пры-

мо на голову отцу. Он вскрикнул не только от неожиданности, но и от боли.

— Что там твердое? — спросил он, потирая макушку.

Дети смеялись, переглядывались, помалкивали, а мать удивлялась — сама увязывала тюк, там только одеяла и подушки. Тюк водворили на место, близок Париж.

По приезде мать заметила, что дети стали часто лазить под кровать. Какая-то новая игра? В детской — свой мирок. Власть родных там ограничена. На стенах детской — «фрески», произведения всей тройки. Тут и Бобкины райские портреты, и деревенская церковь нарисованная Николкой, и запечатленные Аликом улитки и ящерицы... Немного похоже на сюрреалистическую живопись, но много симпатичнее.

Но мать чувствовала, что у детей завелась какая-то тайна. Не раз, при появлении матери, они спешно прятали какую-то бутылку. Станным казались и эти постоянные визиты под кровать. Когда ни войдешь — из под нее торчат две, а то и четыре маленьких подошвы. В отсутствии детей мать сделала обыск, но ничего подозрительного не нашла...

Но как-то, в один прекрасный день, мать неожиданно вошла в комнату и ахнула... На кресле, уютно свернувшись, лежала змея.

Тогда детям пришлось признаться, что змею привезли из деревни в бутылке, засунутой в постельный вьюк. Рассказали, что змея добрая и совсем ручная. Любит молочко и живет спокойно под кроватями, в гнездышке, устланном соломой и сделанном из старой Бобкиной шапочки и Николкиных носков.

Конечно, мать поняла что это только безвредный уж, но все же не могла без содрагания видеть, как Алик прятал «змею» за пазуху, Николка впускал в рукав, а Бобка обматывал вокруг уха... В детском раю у змей нет жала.

Не без труда удалось уговорить детей позволить отцу увезти ужа обратно в деревню. Прощались очень нежно.

А за неделю до водворения змеи на родину, я пришла навестить моих маленьких друзей. Принесла им пирожных. Мальчики выбрали свои любимые и не доев кусков, скрылись в детской. Оттуда послышались приглушенные голоса:

— Нет, она не любит с вареньем.

— А с кремом?
— Кажется ест...
Это змею угощали пирожным.
Хорошо в детском раю!



ТАМАРА ВЕЛИЧКОВСКАЯ

ЧЕРНЫЕ ПТИЦЫ

Рассказ

Приехав в Савою я испытала странное чувство, как будто бы время внезапно пошло вспять. В Париже весна уже уступила место лету. На бульварах и в садах давно отцвели каштаны и сирень. Первая сияющая зелень начала слегка тускнеть от пыли и копоти большого города. Наступало уютное парижское лето...

А в Савое весна была еще в полной силе. Колыхались высокие альпийские травы, пестря ромашками, колокольчиками и розовым горошком. На вершинах гор, в хвойных лесах алели цветы душистого шиповника. Мне посчастливилось найти несколько запоздалых фиалок и даже альпийский ландыш. Стебли у него очень толстые и светлые. Цветы, расположенные как и на обыкновенном ландыше, составляют чашечки из пяти лепестков. Пахнут ландышем, но еще нежнее и прелестнее.

Недавние вешние потоки, устремляясь с гор, размыли тропы. Нанесли на них камней, валежника, вырванных с корнем молодых деревьев... Эти тропы извивались по наклонным лугам. Теперь их края поросли особенно высокой травой и розовой кашкой. Северный ветер обдувал прохладой и пахнул снегом. Но солнце крепко грело. Июнь походил на ликующий апрель.

Крестьянский дом, где я снимала комнату, был, как почти все савойские дома, просторен, чист и светел. Там всег-

да стоял приятный запах сена, зерна и смолы. В доме жила большая семья. Два страших сына и дочь каждое утро уезжали на мотоциклетах в Эвиан, где они работали. Дома оставались отец, мать, дочка-подросток и маленький сын. Все они темноглазы, румяны и стройны. Легко и быстро двигались, переговариваясь на непонятном мне савойском наречьи. Со мной были предупредительны и приветливы.

По праздникам приезжала из соседней деревни еще одна дочь с мужем и ребенком. Приходили соседние крестьяне. Для развлечения включали радио. Причем аппарат выносили из дома и ставили во дворе. Усиливали насколько возможно звук, вероятно, чтобы доставить удовольствие всем соседним фермерам. Благостная тишина изгонялась до самого вечера гнусавыми голосами вопящими о *toujours-amour* и трескучей музыкой.

*
**

Я уходила подальше в горы. Отдыхала на светло-зеленой лужайке. Где-то журчал незримый ручей. Стройные елки, пышные как девушки в сарафанах, окружали меня неподвижным хороводом — только взмахивали на ветру зеленые рукава. Пахло хвоей, земляникой, грибами. Вдали брнчало колокольцами стадо коров, низкий глуховатый звон слегка напоминал церковный... В синеве величаво проплывали облака, темные кресты на верхушках елей, казалось задевали их. Хорошо мне тогда думалось и легко дышалось.

Но когда наступил дождливый период — всё изменилось. Клубящиеся облака спускались на вершины. Всё заволакивала голубоватая кисея тумана. Бисер дождя пронизывал ее и повисал на траве крупными бусами. Сразу становилось холодно и сыро.

Мои друзья, приехавшие одновременно со мной, поселились на соседней ферме. Комнаты им сдавал старый савояр — высокий красивый старик. Было ему немало лет, но держался он по-юношески стройно. Зоркие глаза казались особенно светлыми на коричневом от загара лице. Он работал на своих пахотных полях. И любо было смотреть, как ловко он взмахивал косой, прочно стоя на таких крутых склонах,

где мне приходилось удерживаться, судорожно цепляясь за ветки и травы.

Савояра мы, между собой, называли «дедом». Он охотно разговаривал о том, о сем. Больше о погоде и вздорожании цен. Его дочь, девушка лет под тридцать, такая же легкая и горбоносая как отец, вела домашнее хозяйство. У нее мы доставали молоко, яйца и салат. Дед рассказал, что жених дочери работает в Лионе, копит деньги. И года через два вернется, чтобы жениться и поселиться здесь.

Мне очень нравилось бродить в одиночестве по горным тропинкам, неожиданно приводившим то на луг, покрытый цветами, то в лес, то на заброшенную ферму... И я любила встречать на перекрестках и перевалах деревянные кресты и часовенки с беленькой Мадонной за решеткой. Возле всегда лежали букеты полевых цветов — скромный дар набожных савоярок.

Есть какая-то глубокая радость в преодолении горного подъема. Шаг за шагом, спокойно и неуклонно приближаешься к намеченной цели. С каждым поворотом дороги, по-иному видишь и пройденный и предстоящий путь. Поднимаясь в гору, как будто молодеешь, возвращаясь от лета к весне. От июньского шиповника к апрельским фиалкам, затем к робким лютикам марта. И наконец к снежным провалинам февраля.

**
*

Однажды я пришла на одну из своих любимых полянок. За ней ели дружно поднимались в гору. Издали казалось, что это щетинится зеленая шерсть на спине огромного зверя. С другой стороны, сквозь мохнатые ветки и стволы, просвечивал голубой воздух крутого обрыва. Под елями дозревала земляника, ютились рыжики и синели горечавки.

В тот раз на полянке царило непривычное оживление. На ближних елках и скалах расположилась стая каких-то черных, крикливых птиц. Они перекликались и перелетали с ветки на ветку. Казалось, что они о чем-то совещаются. Голос их напоминал карканье ворон, но звучал выше и как-то жалобнее. Мое появление их не испугало. Они продолжали прыгать и совещаться, не обращая на меня внимания... И

вдруг, как по команде, взвились и полетели прочь черной шумной тучей. Они расположились где-то неподалеку, так как, сидя на полянке, я все время продолжала слышать их жалобное карканье.

По дороге домой я встретила деда. Он возился в огороде. Мы поздоровались.

— Хорошая погода! — сказала я.

Дед покачал головой.

— Не надолго, — ответил он, — будет дождь.

Я удивилась. Небо светилось безоблачной лазурью и казалось ничто не предвещало ненастья.

— Слишком ясные дали, — пояснил дед.

В это время черная стая пролетала над нашими головами, по направлению к фермам.

Дед вдруг осекся, нахмурился и стал пристально следить за полетом птиц.

— Плохо! — сказал он. — К кому это они полетели?..

— Что это за птицы? — полюбопытствовала я.

— Les cheucas (горные галки) ... — ответил дед и замолчал.

— Это к дождю?

— Нет, — нехотя сказал он, — хуже, к несчастью ... Это особенные птицы. Зимуют в скалах, во льду, в снегу ...

— Чем же они питаются?

— А кто их знает ... мхом, семенами, орехами ... Никогда не прилетают в село. Только когда предупреждают ... К кому это они в этот раз?..

**
*

С каким-то тяжелым сердцем я пошла домой. Чем ближе к своей ферме, тем громче раздавалось многоголосое карканье. Войдя в свою комнату, я подошла к окну и увидела, что чахлые черешни перед домом черны от рассеявшихся птиц. Я смогла их хорошо разглядеть. Это были довольно крупные птицы, величиною с дрозда. Оперение у них гладкое, черное. Клювы острые и прямые. Птицы, как и прежде, суетливо перепархивали и беспрестанно кричали. Я подумала — не меня ли они предупреждают о несчастье? Стало неприятно и я затворила окно.

Когда после завтрака я снова вышла на прогулку, птицы все продолжали свою переключку на тех же деревьях. Я направилась в горы. Нашла новую тропинку. Она уходила в густой ельник и вывела меня на луг, к небольшому озеру, круглому как блюдце. Неподвижная вода была некрасивого грязно-желтого цвета. Посередине щетинился тростник. Развороченная копытами стад глина, окружала озеро коричневой каймой. В воде, у самого берега вздрагивали головастики. Небо побледнело. Из-за гор поднимались пушистые облака, их становилось все больше. Солнце то скрывалось, то снова выглядывало. Наконец сероватая мгла совсем заволокла небо.

Прав был дед, — подумала я, — будет дождь. И поспешила домой. Едва успела добежать, как задул тревожный ветер — вестник надвигающейся тучи, и застучали первые капли. Они перешли в однообразный шум. За окном плавно закачались ветки, затрепетали розовые флоксы, запахло дождем.

Ни одной черной птицы не осталось на черешнях. Пошел спокойный равномерный дождь...

Он шел без остановки несколько дней и ночей. Я написала все письма, перечитала два английских романа, продвинула начатое вышивание (любимое занятие во время отдыха), о многом передумала... И наконец заскучала. А дождь все лил. От сырости все платья стали влажными, туфли покрылись плесенью. Чтобы отогреться я клала на колени грелку с горячей водой. Под моим окном, ручеек, сбегаящий с гор, увеличился вдвое. В его мутной торопливой воде целый день барахтались утки, побрякивая от удовольствия.

Почтальон приезжал ежедневно после часа дня. Я издали узнавала шум мотора его мотоциклетки. Письма были единственным развлечением и радостью в эти скучные дни. Дружеские мысли, как радиоволны, переносились через хребты гор, через города и реки. Они воплощались в небольшом конверте и рождали ответные теплые думы.

Наконец, проснувшись рано, я увидела на оконной раме золотую полоску солнца. Стекла ослепительно синели. Я вскочила с постели, распахнула окно — изумительный гор-

ный воздух ворвался в комнату веселой волной. Сна как не бывало. Зеленые вершины глядели еще насуплено из-под низко нахлобученных шапок тумана, но ближний луг светился солнцем и от травы поднимался легкий пар. Будет чудный день, — радостно подумала я.

Вдруг откуда-то донесся глухой стон. Я прислушалась. Стон повторился и перешел в долгий вздох. В этих звуках было что-то такое, что у меня захолонуло в душе и забилося сердце.

Я высунулась в окно. Под ним находилось окно хозяйкиной спальни.

Кто-то заболел, — подумала я. — Надо бы узнать в чем дело. И не могу ли я чем-нибудь помочь.

В это время внизу раздался взволнованный вскрик. Я узнала голос мадам Верне, матери семейства. Она повторяла какое-то слово, все напряженной, все громче. И потом в голос зарыдала и запричитала.

Ей вторила младшая дочь. Вскоре я увидела как девочка выбежала из дому и бросилась плача бежать по дорожке, ведущей в соседнее село. В последней фразе матери я уловила только одно слово «священник». Тогда я поняла, что случилось несчастье.

*
*
*

Весть о смерти главы семейства Верне быстро разнеслась по всей деревне. Подробности мне рассказали друзья, узнав их от деда. Накануне папаша Верне, человек еще не старый, не чувствовал никакого недомогания. Утром, как всегда, пошел выпустить коров на пастбище. Возвратившись сказал жене, что ему нездоровится, тошнит и кружится голова. Прилег... Жена пошла на кухню приготовить настойку из трав. Слышала, как он стонет. А когда принесла ему питье — муж был уже мертв.

В доме, который посетила смерть, я чувствовала себя чужой и лишней. Старалась не попадаться на глаза домашним, не до меня им было. При виде их большого искреннего горя банальные слова соболезнования не шли на язык. При встрече я только крепко пожала руку вдовы и пробормотала что-то неясное. За короткое время она осунулась и постаре-

ла. Но привычно хлопотала по хозяйству, не поднимая красных опухших век.

С детства я испытывала страх перед покойниками, даже боялась проходить мимо дома или церкви, где стоял гроб. Один Бог знает, какой ужас мне внушала мысль о смерти. Мне бывало страшно засыпать. А вдруг не проснусь?! Я представляла себе, как меня заруют в черную землю и как я буду биться в закрытом гробу. Вероятно вспоминались страшные рассказы о заживо погребенных. С годами острота ужаса притупилась. Я стала понимать мудрость смерти. И старалась не слишком много о ней думать.

Но теперь, когда только слой досок отделял меня от комнаты, где находился покойник, я чувствовала, что мои нервы начинают сдавать.

Снова зарядил дождь. На этот раз очень теплый и тихий. Приходилось сидеть у друзей или дома, о далеких прогулках нечего было и думать. Дорожку размыло, все было насыщено влагой. Обсушиться в моей комнате было бы трудно.

В окно я видела, как приходили один за другим набожные крестьяне, чтобы отдать последний долг усопшему. Всю ночь слышала, как внизу, подо мной, читали хором молитвы, как становились на колени, как двигали стулья... Священник был в отъезде и тело оставалось в доме трое суток.

На другой день после кончины Верне, я почувствовала странный лекарственный запах, распространившийся по всему дому. Он проникал во все щели, он преследовал меня днем и ночью. Должно быть так пахла жидкость, предотвращавшая тление. Нервы мои все больше сдавали. День я проводила у друзей, стыдясь признаться им в своем малодушии. Разговоры с ними отвлекали от мрачных мыслей. Но, когда вечером приходилось расставаться, когда подходя к своему дому я видела в окнах нижнего этажа трепещущий отблеск погребальных свечек, когда на пороге меня охватывал этот странный запах (сквозь лекарственный угадывался другой, еще более страшный) — я прокрадывалась к себе затаив дыхание и подавляя острое желание повернуть обратно.

И начиналась мучительная ночь. Сна не было. Я прислушивалась к монотонному бормотанию молитв, ловила отголоски плача, шагов...

Мне представлялся покойник с восковым лицом и скрепленными руками, заочевенный и страшный. Если мне удавалось заснуть, я просыпалась всегда от одного и того же кошмара. Чудилось, что пол проваливается и я лечу вместе с досками вниз, прямо на гроб. Это бывало так страшно, что я боялась закрывать глаза.

В эти трудные ночи я стала молиться. Вспоминала все молитвы, выученные в детстве. Прочитывала несколько раз подряд... Потом стала просить поддержки у Христа своими словами, обращаясь к Нему, как Он Сам заповедовал — как к Отцу. Об этом говорить нелегко, но я бесспорно испытывала успокоение и приближение к тому миру, откуда изливаются на нас тепло и благодать Любви. Никогда не забуду, как я, лежа с головой под одеялом, старалась как можно больше отрешиться от внешних впечатлений... Отче наш... начинала я читать мысленно. Но уши ловили шум «той» комнаты и это мешало. Я затыкала уши и опять повторяла и повторяла «Отче наш, иже еси...» пока не согревалось сердце и я не успокаивалась. Но стоило мне забыться, я вдруг просыпалась как от толчка. И все начиналось сначала...

Настал третий день. Его я тоже провела у друзей. Дождь сыпал по-прежнему. Не только горы, но и село заволокло туманом. Его клочья, медленно извиваясь, ползли между деревьев и стен, заползали в открытые двери, всё одевали в белый саван.

Вечером, когда пришла пора отправляться восвояси, я напрасно напрягала всю свою решимость. «Как не стыдно! — говорила я себе. — Ну, вставай же, трусиха»... Но продолжала сидеть, чувствуя, что не могу идти в «тот» дом.

Когда я заметила, что моя приятельница отвернулась, чтобы скрыть зевоту, а ее муж как-то выразительно приоткрыл рот — я вдруг взмолилась:

— Ради Бога, позвольте мне посидеть этой ночью у вас на кухне... Я не могу идти туда, — в моем голосе угадывались близкие слезы. И я вкратце рассказала о своих ночных ужасах...

Мои друзья проявили полное понимание и сочувствие. Пожурили, почему я не сказала раньше. Сейчас же соорудили мне кровать из шести связанных стульев, пожертво-

вали свою перину. И улегшись на этом коротком и твердом ложе, я испытала блаженство от сознания, что я не одна, что в соседней комнате спят мои друзья, а за стеной ворочается дед, что вокруг меня — живые, спокойные люди.

Я проснулась ранним утром, оттого что горячий солнечный луч упал мне на веки. Кончился дождь. Веселый ветер прогонял с синего неба последние растрепанные клочья туч. На ближайших склонах лежал бирюзовый отсвет. Отдаляясь он стгуцался и елки на дальних вершинах казались темно-синими. Радостное солнце золотило зубчатую корону Мон-Сезара.

**
*

Похороны папаши Верне были назначены на это утро. Мне захотелось отдать последний долг и проводить усопшего до маленького кладбища, примыкающего к церкви.

Я оставалась у друзей, пока мне не сказали, что похоронное шествие уже двинулось вниз. Гроб пришлось пронести на плечах по узкой каменистой тропинке, от фермы до большой дороги, где ожидал скромный катафалк, больше похожий на тележку. Старая лошадь спокойно ожидала, отгоняя хвостом надоевших оводов.

Дорога круто спускалась вниз, часто петляя. Из соседних местечек пришло много крестьян. Когда катафалк был уже внизу, конец процессии находился еще на середине горы. Я вышла позже, чтобы не попасть в толпу незнакомых крестьян. Знала, что догоню, спускаясь по крутым боковым дорожкам. Сверху мне показалось, что темная змея, извиваясь, вползает в церковные врата. Медленно и печально звонил колокол...

Я вошла в церковь, уже наполненную народом. Женщины сидели с одной стороны, мужчины с другой. Все были в черных одеждах. Черный креп закрывал лица трех дочек покойного. Они горько плакали, плакали и многие в толпе. Набожно молились не только старые люди, но и молодежь. Мамаши Верне в церкви не было. Потом я узнала, что она готовила поминальный обед.

В церкви на меня поглядывали с некоторым любопытством, как на новое лицо. В этих горных деревнях все друг друга знают и почти все — в родстве. Всех их крестили в

этой темноватой, строгой церкви. Здесь священник благословил и будет благословлять их браки. И здесь все эти люди получают последнее напутствие, когда уйдут вслед за папашей Верне.

Незадолго до конца службы, маленький сын покойного так громко и надрывно заплакал, что его, поддерживая, вывели из церкви. Я увидела его разгоряченные детские щеки, дрожащие губы и темные глаза, полные слез. Вспомнила, как всего неделю назад, он радостно смеялся, и бегал с приятелями по лужайке, подбрасывая красный мячик.

Гроб опустили в желтую, мокрую землю, рядом с могилами родных и друзей. Церковный колокол уже давно их оповестил о новом пришельце. Могилы еще пестрели весенним цветением — анютиными глазками, бархатцами, белыми ирисами. Здесь не было монументальных холодных надгробий, на которые так тяжело смотреть, но только легкие ограды, деревянные кресты и небольшие плиты с краткими надписями. Эти люди и в смерти были просты, суровы и набожны.

**
*

Обратно я медленно поднималась по крутой дорожке, где еще недавно стремительно проносился вешний поток. Это он нанес с гор столько камней и бурелома. Но теперь о бурном потоке напоминали только два маленьких ручейка по обеим сторонам дорожки. Они струились мне навстречу, смеясь так весело, как будто бы два мальчика бежали наперегонки. Кто кого!? Вот они разбежались в разные стороны и скрылись в траве. Только чуть слышно где-то посмеиваются...

Но я знала, что ниже они возьмутся за руки и побегут одной дорогой, смеясь еще громче и веселей.

Сладко пахла медуница, алели какие-то высокие цветы. Рядом с черными елями небо казалось особенно сияющим.

Над моей головой прошумела крыльями стая горных галок. Они улетали прочь от села... Куда-то они полетели?



ПОЛА ПИТЕРС

О, МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК!

Я родилась в Сибири (Забайкалье). Затем жила в Маньчжурии, в городе Харбин, где окончила гимназию. Затем жила я в Китае, г. Шанхай, там служила продавщицей в кондитерской.

Выйдя замуж за английского морского офицера я навсегда уехала в Англию. Там я поступила в медицинскую школу для сестер милосердия, и с тех пор непрерывно работаю в английских госпиталях.

Всю вторую мировую войну я работала в военных госпиталях в г. Портсмуте, в городе наиболее подвергнутом бомбардировке. Я тогда говорила себе: «Ничто, никогда не может заставить меня забыть это. Я никогда больше не буду ни петь, ни смеяться». Невероятная картина страданий людских поминутно напоминала мне, что мой муж «плавает» где-то в океане на подводной лодке.

Но всё прошло, не забылось, конечно. Оно в каждом из нас оставило след навсегда.

Через Красный Крест меня находили и посылали в госпитали, где были раненые «русские». Эти «русские» чаще всего были буряты, гуцулы (до тех пор о последних я не знала даже, что они существуют), представители кавказских племен и так далее.

Некоторые из них остались в моей памяти навсегда.

Вот два русских солдата, почти мальчики. Они ранены, больны и напуганы. Когда я подошла к их постелям, стоявшим рядом, и сказала «Здравствуйте!», они схватили меня за руки, пытаюсь подняться, и слезы стояли в их глазах.

— Тетенька, тетенька! Скажите, нас здесь будут мучить?

Я уверила их, что в Англии никого не мучают, и пыток здесь нет.

Вот я у постели другого «русского».

— Как вас зовут?

Не понимает. Молчит.

— Как ваше имя?

Не понимает; но тут подошел другой раненый русский и говорит:

— Ах, тетя, не умеешь ты их спрашивать! Ты так говори, слухайте: эх, браток, как твоя матка тебя кличет?

— Мухмедка, — прошептал больной.

— А как красный комиссар кличет твоего батьку?

— Сулейманов — кличет.

— Какой река вода пил?

— Кура река вода пил.

— А Бог у вас там есть?

— Есть, есть Бог! — встрепнулся больной. — Сталин сказал: «война есть — Бог есть; война нету — Бога нету».

— Видишь? — сказал полупрезрительно мой учитель.

Поблагодарив его, я поняла, то есть овладела методом.

Однажды мой русский был бурятом. Прожив детство и юность в Забайкалье, я сразу узнала знакомые мне там лица.

— Юхурухты, ныхор! (Здравствуй, друг, сосед и т. д.).

Лицо больного расплылось в счастливую улыбку.

— Мундэ! (Восклицанию удивления или приветствия).

Я показала пальцем на себя.

— Пола!

Он показал пальцем на себя.

— Гамбох!

Я показала двумя пальцами на себя.

— Пола Питерс!

Он показал двумя пальцами на себя.

— Гамбох Бадмаев.

— Какой река вода пил?

— Уда река вода пил.

— Урга город, бывал?

— Урга город бывал.

— Много табун-кобыла купил?

Горько вздохнул Гамбох.

— Табун-кобыла Сталин взял. Один черный кобыла мой.

О великий могучий русский язык!

Им со всяким «русским» говорить возможно!



НАДЯ БАКЛАНОВА-БОЗАК

НА БОЙКОМ МЕСТЕ

Взволнованный голос из телефонной трубки резко кричал:

— Да вы прямо скажите, что вы хотите исключить «Блины» из программы нашей эмигрантской жизни. Или может быть у вас просто патриотическое чувство притупляется?

Ну, уж это меня взорвало! Представьте себе, ну что общего имеет патриотическое чувство — с блинами на постном масле? Она еще пожалуй вспомнит, как говорили в России во время первой мировой войны: «Мы немцев шапками забросаем!» Так что же, она видно хочет новый лозунг дать: «Мы большевиков блинами забросаем!» А пожалуй это и совсем не такая уже плохая идея. Вспомни там кто-нибудь доброе старое время масленицы, тогда и многое бы изменилось к лучшему, чтоб опять так весело, как раньше, пожить. Но когда моя милая знакомая уже последнюю каплю яда в телефонную трубку впустила и заявила, что у меня первые признаки старости появляются, раз гордость нашей эмиграции «Угощение блинами» пропустить хочу, так уж с таким аргументом, сами понимаете, я согласиться не могла. Привела себя быстро в надлежащий порядок и через час очутилась на блинах.

Зал был публикой заполнен почти до отказа. Стою в очереди за салатами и селедочкой и высматриваю из расписания блюд, — наклеенном на колонне плакате, — что-нибудь интересное. Наконец выбрала, а миловидная барышня, раздающая салаты говорит:

— Может вы, мадам, возьмете что-нибудь другое? У нас винигрета в этом году не приготовили.

— Как же, — говорю разочарованно, — да вот тут, на расписании даже подчеркнуто и особенно вот указано: «свеже приготовленный винигрет».

Со вздохом барышня отвечает:

— Это, мадам, прошлогодний плакат. Не успели еще написать новое расписание блюд. Вы не обращайтесь на него внимание, а выбирайте просто, что на вас смотрит, ведь достаточно большой выбор.

— А ваши салаты тоже прошлогодние? — съязвила, около меня стоящая, блондиночка старшего поколения.

— Нет, салаты и всё другое свежее, — ответила, не возмущаясь колким намеком, приветливая барышня.

И она была права. Выбор на славу, так глаза и разбегаются, не зная, что лучше взять. Тут какой-то пожилой господин, видя что у меня руки уже заняты были (в одной руке бумажная тарелка с разными закусками, селедкой и салатом, а в другой стакан с невероятно интересным напитком, не помню только его имени; говорят, что это было шампанское с мелко нарезанными фруктами в нем: какое-то парижское изобретение, как будто круассан), взял мою тарелку с блинами и мы отправились с другими по крутой лестнице вниз, надеясь в нижнем подвальном помещении найти свободное место за столом. Но так как и там все занято было, то мы всей шеренгой опять должны были наверх подняться. Никто нас о том не предупредил, что нижний зал тоже был переполнен и, войдя обратно наверх, я вижу, как новая очередь, неся закуски и горячие блины, ту же процедуру, так сказать «гусиным маршем» вниз по двум очень крутым лестницам, туда и обратно наверх проделывать собирается. А мой вежливый кавалер мне подшептывает:

— Пусть, пусть идут, зачем предупреждать? Может кто по дружбе с ними тоже вниз пойдет, вот место и освободится.

«Какой он милый, — думаю, — сколько внимания и заботливости в его тоне, чтобы устроить нам место за столом!»

И действительно, как по волшебному велению, два господина встали и я слышу, как они друзьям еще говорят:

— Смотрите, сколько публики в подвальный этаж идет. Может там не так громко и тесно, а то тут так собственного слова не слышно и поговорить по душам невозможно. Часто ли встречаемся!

Взяли они свои тарелки и напитки и тоже присоединились к шеренге отправляющейся вниз, а перед тем свои ме-

ста нам предложили. Мы, конечно, второго предложения ждать не стали, и быстро шмыгнули на освободившиеся места. Сидим и диву дивимся и подмигиваем друг другу: «Ну же и повезло нам!» И принялись за свои блины. К сожалению, они уже немного, за время нашего «хождения по мукам» по двум длинным крутым лестницам в подвальный этаж, остыли, но всё же ничего, пышные и вкусные были.

Успокоясь немного, что всё так удачно вышло с обеспечением места за столом, стала я на соседей поглядывать, улыбаться, кланяться и стали друг другу представляться.

— Да что вы! — вырвался у меня возглас. — Неужели мне так повезло, что сижу за одним столом с нашей знаменитой певицей и актрисой. Ведь я уже так давно хотела на ваш концерт попасть, да всё какие-нибудь неотложные дела до сих пор мешали. А когда я уж как-то собралась, так над Нью-Йорком, именно в тот день, такая снежная буря проносилась, что меня по дороге домой, после чуть ли не живьем снегом занесло. Только как чудом обратно домой добралась.

— Да, — лаская особенно синими глазами, ответила певица. — Концерт из-за вьюги отказать пришлось. Удивительно, как вы вообще в такую страшную погоду на улицу выйти решились. А что ваше любимое занятие? — спросила она, чтобы разговор не шел, видно, только о ней и ее выступлениях на концертах.

Ну, так как и другие мои соседи по столу тоже артистками оказались, не хотелось мою прозаическую профессию называть: только, пожалуй, присутствующим настроение испортила бы этим.

— Да я иногда в нашей газете пишу, — сказала я по возможности равнодушным тоном.

— Ах, вот как! Так вы, может быть, даже и репортер? — заинтересовалась моя группа артистов на перебой. — Ведь вам, как нарочно, даже место за нашим столом уступили. Случайное интервью, так сказать, устроить хотите? ..

Наша любезная беседа была прервана внезапным волнением около нас.

— Это я хотела на освободившиеся места с мужем сесть, — взволнованно и грозно на меня глядя, шипела большого

роста представительная дама. — Мне его только позвать нужно было, а теперь вот вы уже места и заняли.

— Ну уж извините, — гурьбой заступились мои соседи. — Эта дама от нашей газеты, известный концертный критик. Специально для интервью присоединилась к нам.

«Ой, ой, — думаю, — что это я только наделала! И как это они меня в известного концертного критика произвели?» Неприятное чувство одолевало: ведь «у страха глаза велики». В нашей газете заслуженные профессора музыкальной критикой занимаются, а я-то, в общем, что? — «Пятая спица в колеснице». Одна только надежда, что никто от нашей газеты тут за столом не сидит. Газета-то, кажется, теперь в финансовом затруднении. Это ей под статью подойдет по крайней мере десять тысяч долларов возмещения за ущерб ее репутации, принесенный моим самохвальством, от меня судом потребовать. Лишь бы скорее блины докушать и вон отсюда. Не решаюсь и глаз с зеленой бумажной тарелки поднять, а соседи артистки наперебой мне свои биографии с малейшими деталями рассказывают. Не только сорок строк для газеты, а целые тома, с помощью авторской талантливой фантазии, заполнить можно бы было. Чтоб остановить немного взволнованный поток повествований бывших звезд наших подмошков, я вынула из сумочки мою записную книжку, где я свои доходы и расходы записываю, и давай их пояснения, имена и названия выступлений в ней уточнять. А когда пришла очередь спросить в каком году эти потрясающие события их театральной деятельности происходили, так и началась заминка и переглядывание, и я выиграла время обратить свое внимание на зал с его шумной и очень, по-видимому, довольной публикой. В особенности меня интересовало увидеть ту взволнованную даму, которая меня упрекнула, что я ее место заняла. И что же, к моему большому удивлению, она, оказывается, сидела около меня на месте господина, который нас за этот стол устроил. А он, видно, стушевался незаметно, услышав, что я для газеты работаю.

«Ну что ж, подумала я, — может какой не из новых, а из новейших писательских эмигрантов и не хочет огласки преждевременной из осторожности. Кто знает, может опять к новому потоку эмигрантов приготовиться нужно будет и

напрасно так много о том сетуют, что наши эмигрантские ряды редеют».

Встретившись глазами с моей новой соседкой я сразу поняла, что она всё еще в полном воинственном настроении.

— А я что-то не припомню, чтобы я встречалась с вашим именем в нашей газете, — обратилась она ко мне, как бы с вызовом, громко. — Вот господин Аргус, так постоянно печатается. Его имя, как северная звезда, давно уже утвердилось в нашем эмигрантском литературном небосклоне, а вы, наверное, только как комета туда-сюда мечетесь в межпланетном пространстве нашей уважаемой газеты. Может просто по ошибке или не доглядели, так ваше писание и отпечатали, мало ли какие случайности бывают.

Может она и права была, а меня всё же за живое схватило, и я приготовилась ей дать вежливый, но решительный отпор. Но в этот момент наша всеми любимая актриса встала и громким мелодичным уверенным голосом обратилась к публике. Всё затихло. Все взоры обратились к ней. Она в своем импровизированном выступлении благодарила за хорошую организацию устройства вечера, а под конец, ну как бы плывя по направлению моих мыслей, говорит:

— Я чувствую, что эти невероятно удачные блины мы едим на бойком месте, и некоторые из нас не только в приподнятом настроении, но и...

С переполоху я закрыла глаза и чуть ли не поперхнулась моей селедочкой. А она стала свою плавную речь, ну прямо как бы моими мыслями дальше управлять.

«Да ведь это же телепатия! — мелькнуло у меня в голове. — Она прочла мои мысли. Ведь это я в мыслях назвала наш сегодняшний вечер „Блины на бойком месте“, а она теперь это громко высказала. Сесть бы мне от нее подальше, да некуда. Мы и так уж тесно устроились, как рыбки в консервной банке».

А звезда нашего театра продолжает всё в том же духе о воинственном настроении, в особенности за нашим столом, намекать. Но под конец ее речь приняла более примирительный характер и со смеющимися глазами она закончила под ободряющий смех и благодарные аплодисменты публики.



М. АНТОНОВА

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

После его смерти его боевые товарищи нашли письмо матери. Она писала ему из глуши Боснии:

«Мой дорогой сын,

давно нет от тебя писем. Я знаю о тех ужасных отступлениях, об окружениях, в которые попадал неоднократно твой полк. Знаю о боях с неравным врагом. Сердце мое замирает в страхе, жив ли ты, мой родной? Часто в бессонные ночи вспоминаю тебя, как ты уходил на войну, как ты писал рапорт ген. П. о принятии тебя в армию добровольцем.

Тебе не было полных 16-ти лет, но ты был рослым, широкогрудым юношей, с ясным и гордым взглядом.

Сердце мое — сердце матери — обливалось кровью, но сжала я его в комочек, я превратила его в камушек. Я была горда тобой, мой сын!

Я знала, что ты скрываешь от меня тяготы солдатской жизни. Прошли три года. Ты стал настоящим солдатом. Письма твои были коротко-деловыми. Ты писал полный надежд на быстрое осуществление наших идей. Ты весь горел желанием похода на Восток. Ты свято верил в скорое воскресение нашей Родины, которой ты не знал, но так беззаветно любил.

В последнем письме ты говоришь: „не падайте духом! Бог с нами! Помните Достоевского 'Россия велика православием. Русский народ велик и прекрасен, потому что у него необъятные массы народа Православного'“» ...

**
**

Летом мать нашла остатки славного полка сына в глухих лесах Альп...

Отслужили панихиду. Горько пели певчие: «надгробным рыданием воину Алексею». И здесь опять воскресла гордость матери. Он жив здесь, в глухих лесах Альп и хранит в молодых сердцах идею Православия и Родины.

Клойн-Сантвейт.



В. МИТЕНС

РУССКИЕ СОЛДАТЫ ВО ФРАНЦИИ В 1915 ГОДУ

С какой радостью мы русские, застрявшие во Франции, вольно или невольно, в первую войну, узнали что в Марсель прибыли русские военные суда с войсками посланными русским царским правительством на помощь Франции, другу и союзнику.

Мы жили около Ниццы, где была большая русская колония, многие поехали в Марсель повидать их и вернулись рассказывая, что солдаты подобраны молодец к молодцу, высокие, стройные, хорошо одетые, с великолепной выправкой. Можно было гордиться ими. Французское население встретило их восторженно.

Главный их военный центр был около Парижа в „Camp de Mailly“.

Рассеянные по всей Франции русские торопились чем-нибудь выразить свое сочувствие.

В начале войны многие русские пошли добровольцами во французскую армию. Были уже убитые и раненые.

Русское благотворительное общество в Ницце, под председательством графини Сумароковой-Эльстон, вошло в связь с русской военной базой в Париже, чтобы сговориться чем можно помочь солдатам, что прислать? и принялось за работу.

Русским дамам распределили «крестников» для переписки, помощи и встречи.

У меня оказалось четыре «крестника» и удалось пригласить их одновременно к нам на виллу на несколько дней их отпуска.

Старший из них был огромный грузный детина. Важный и добродушный. До войны был писарем, где-то при полиции. Был грамотен и выражался витиевато и торжественно. Одно его письмо начиналось так:

«Глубокоуважаемая Госпожа Крестная,

Прошу извинить меня за мою непростительную похоть и позволяю себе попросить Вас прислать мне табачку».

Другой был молодой, стройный, с на редкость тонкими породистыми чертами лица и неожиданной аристократической фамилией Барятинский. Но был простой крестьянин из маленькой деревни средней России, не знал ничего о своем происхождении. Вероятно дальний отпрыск драмы или идиллии времен крепостного права.

Третий, Александр Киселев, ловкий, разбитной, любознательный. Всем интересовался, на лету схватывал и запоминал французские слова. Был из-под Москвы, из приказчиков. Последний, его товарищ, еле грамотный и маловыразительный.

Их всех больше всего интересовало: что и как растет и чем люди живут? Уходили на берег наблюдать работу местных рыбаков. Удивляли их невиданные деревья в нашем саду: оливки, апельсины, мандарины и особенно лимоны. Дерево, на котором одновременно были цветы, зеленые плоды и спелые — желтые.

— Захочется чайку с лимончиком, пойдешь в сад и сорвешь!

Время для нас русских было уже тревожное. Из России деньги не приходили. Съестных продуктов было все меньше. Никто не знал что будет завтра. В нашем саду мы заме-

нили цветочные грядки овощами и завели большой курятник. Это пришлось очень кстати для наших военных гостей.

Мы поселили их в домике садовника. Они готовили себе еду на костре и по вечерам стройно пели, не представляя себе, как нас это деревенское наивное русское пение волновало и трогало.

«Последний нынешний денечек

Гуляю с вами я друзья,

А завтра утром чуть светочек,

Прощайте вся моя семья.

Прощай жена, прощайте дети,

Прощайте все мои друзья».

Уехали они, я думаю, довольные и отдохнувшие. Был это, быть может, последний спокойный кусочек времени и для них и для нас перед надвигающимися событиями.

Зимой 1916 года я была в Париже. Было холодно, тревожно и темно. В отелях не топили и их плохо освещали. Тепло и более или менее светло было в кафе, где за чашкой горячего кофе, или скорее цикория, — можно было просидеть весь вечер. С группой друзей мы собирались в знаменитой «Ротонде» на Монпарнасе. Журналисты, военные корреспонденты заходили туда и приносили новости о войне и, уже более тревожные, — о России. В 10 часов вечера «Ротонда» закрывалась и нас безжалостно просили «выйти вон». Долго стояла растерянная толпа на тротуаре, кончали споры и разговоры. Ни одного луча света не проникало на улицу из затемненных синей бумагой дверей и окон.

Русская военная база была всё время в „Camp de Mailly“. Прекрасно организованная. Свои русские доктора, русский священник. Группа русских сестер милосердия, добровольно с ними приехавшая из России. Девушки из очень хорошего общества. Своя библиотека. Отношения со старшими доверчивые, менее официальные, чем в России.

Французское военное правительство щадило русских солдат. Не посылали на опасные рискованные столкновения. Но были все же больные и раненые, их отсылали в специальные госпитали на юге, в Канн, Ниццу и т. д. Но этот мирный период скоро кончился. Стали доходить из России слухи о революционном брожении, о том что там война кон-

чилась, военная дисциплина отменена, солдаты возвращаются в деревни. В „Camp de Mailly“ и везде, где были русские солдаты, начались собрания, обсуждения, появились левые пропагандисты. Началось разделение на красных и белых. Красные требовали возвращения в Россию. Белые считали, что они должны быть верными присяге и продолжать помогать французам.

Французское начальство было этим очень встревожено. В их войсках были тоже вспышки протестов, о чем тогда очень замалчивали. Что им делать теперь с этими взбунтовавшимися «дружескими» войсками?

Разделили их на два лагеря, чтобы избежать опасных столкновений. «Красных» отправили в „Camp de la Courtine“, на запад. Белые остались в „Camp de Mailly“.

Двух наших хороших знакомых, военных корреспондентов, посылали уговаривать взбунтовавшихся в „La Courtine“. Мы ждали их в «Ротонде», куда они являлись поздно вечером расстроенные и измученные: никто ничего не понимал, никто не хотел их слушать, стоял один крик: «война кончилась в России, мы хотим домой».

Когда французы предложили отправить «красных» в Россию на пароходе, это было ими принято с восторгом, но и с недоверием. Целый день шли обсуждения. Кто-то пустил слух, что это обман, подвох, что их посадят на пароход, а потом потопят в Северном море. После долгого дня обсуждений вынесена была резолюция:

«Мы согласны уехать, но чтобы в качестве гарантии нас сопровождал маршал Жоффр и казенный ящик Франции».

В конце концов, после долгих переговоров, ряда драматических осложнений между красными и белыми, самые горячие бунтовщики были отправлены в Россию.

Позже, когда, по приглашению Керенского, все желающие русские могли уехать в Россию, уехало много солдат маленькими группами, как и позже, уже при большевистском правительстве.

Но много осталось, или нерешившихся, или больных и раненых. Русская военная база продолжала о них заботиться. Подыскивала им работу. Рассылала их по деревням. Кой-кто попал в Алжир и обосновался там. Многим пришлось

нелегко. Не только солдатам, но и офицерам и сестрам. Это была первая «белая» эмиграция.

Еще и сейчас можно встретить бывших военных русских «друзей-союзников», доживающих свой век в старческих домах, прекрасно устроенных на щедрую помощь американцев.

Из моих «крестников» я потеряла из виду очень скоро толстого писаря и молодого парня из-под Москвы. Они не бунтовали, но, вероятно, скоро уехали домой. Барятинского встречала в Париже. Большой франт, он любил «пройтись по Парижу, людей посмотреть, себя показать». Девушки на него засматривались.

Раз поздно вечером в отеле неожиданный стук в дверь: Барятинский. Я знала, что он был болен и отправлен на поправку под Париж.

— Как вы сюда попали?

— Через стенку. Мы лазейки знаем. Пришел, Крестная, совета попросить. Что мне делать? Я не красный и не белый. Уговаривают и тянут со всех сторон. Я ничего не понимаю. Как решить?..

Что я могла ему сказать? Мы все еще ничего не понимали. Были еще оптимистами и надеялись, что скоро всё уладится. Посоветовала пока ничего не решать. Переждать смирно в доме отдыха, как всё это обернется. Больше его не видела. Уехал, наверное, по зову Керенского.

Четвертый «крестник», Александр Киселев, остался во Франции еще несколько лет в тесной связи с нами.

Мой муж, доктор естественных наук, был старшим ассистентом в Биологической Русской Станции в Villefranche около Ниццы. В России он был освобожден от воинской повинности из-за больного сердца. Продолжал свою работу: исследование фауны и флоры Средиземного моря. К концу 1916 года, сделав доклад во Французскую Академию Наук и в Русскую, пошел добровольцем в русскую армию, чтобы принять участие в происходящих событиях. Его снова забраковали для активной службы, но оставили в „Camp de Mailly“ писарем и библиотекарем. Там он встретился с Киселевым и взял его в свои помощники, когда Русский Красный Крест поручил ему объезжать с кинематографическим аппаратом госпитали и санатории, где были группы русских солдат и

читать им лекции, чтобы развлечь их, тосковавших по родине. После лекций о вреде алкоголизма или опасности венерических болезней, показывался какой-нибудь веселый фильм, шли беседы.

Эта очень интересная работа продолжалась с перерывами несколько месяцев, пока аудитория настолько сократилась, что Красный Крест прекратил ее.

Мой муж и с ним Киселев вернулись к нам домой. Встал неотложный вопрос: что делать, на что жить?

Биологическая Станция, потеряв связь с Россией, была без средств.

Слышали, есть спрос на дровосеков. «Пойдем лес рубить». Пошли. Нанялись к подрядчику в горах. Возвращались по субботам. Киселев трогательно привязался к мужу. Оберегал его по отечески, хотя был моложе и ниже ростом.

— Вы думаете он отойдет в сторону, когда дерево рубим и оно падает? Надо его оттаскивать. Слава Богу, в строй не попал, перед пулей голову бы не наклонил.

От подрядчика перешли в артель русских солдат. Артель прогорела. Ни у кого, кроме Киселева, не было опыта.

Чинили крыши в Марселе. Собирали виноград под Тулузой, оливки около Тулона. Понемножку мой муж повышался в чине. Стал надсмотрщиком, заведовал работами. Киселев при нем. Иногда разъезжались на время. Как-то Киселев вернулся с молоденькой итальянкой. Женился. Они прекомично объяснялись на русско-французско-итальянском языке.

Уже после 1920 года мой муж получил интересное место. Один американец «друг и союзник», уезжая после войны из Франции, купил огромное имение на горе около Грасса и отдал его в пользу нуждающихся французских детей. Там устраивали санаторий для лечения солнцем детского костного туберкулеза. Муж налаживал сельское и молочное хозяйство. Киселев приехал с женой и сыном Алешкой. Как везде, его здесь оценили и полюбили. Это было хорошее, спокойное место, на долго.

Но Киселев вдруг затосковал.

— Хочу домой в деревню.

— Попадешь в колхоз, — говорил муж.

— И в колхозе люди живут. Там я буду дома, у меня будет большая семья и будем говорить по-русски.

Уехал. Но Кисилев не попал ни в деревню, ни в колхоз. Через несколько месяцев мы получили письмецо. Он получил хорошее место, швейцаром в лучшей гостинице Москвы, из-за знания французского языка. В конце приписочка — «пока мне не пишите».

Больше мы никогда ничего о нем не слышали.

РУССКИЕ СОЛДАТЫ ВО ФРАНЦИИ В 1945 ГОДУ

В конце второй войны в Марсель тоже прибыл из Советской России пароход, как дружеский визит союзников.

Встреча была совсем иная: корректная, но сдержанная. Уже позади четверть века большевистского режима. И гости держали себя отчужденно. Слегка высокомерно. Им вероятно дан был приказ не общаться с населением.

Здесь на юге они ходили по двое или маленькими группами. Осматривали всё, как туристы, не вступая в разговоры.

Русские избегали встречаться с ними.

Я жила тогда одна, после очередного крушения, обычного в эмигрантской жизни, в маленькой деревне у последнего склона Приморских Альп, в 30-ти километрах от Ниццы.

Получила от моей знакомой в Париже письмо: она прячет военного доктора большевика, сбежавшего в Марселе при высадке. Не хочет возвращаться в Россию. Ему рискованно оставаться сейчас в Париже, где много советских военных, и она просит найти ему уголок на юге, где он мог бы переждать. Человек милый, услужливый, говорит немного по-французски. Успел влюбиться в одну из ее работниц (у нее была швейная мастерская), собирается жениться. А пока согласен на какую угодно работу, чтобы подальше спрятаться от соотечественников.

Надо ему помочь.

Выше нашей деревни, верстах в четырех, в совсем пустынном месте, поселился русский эмигрант с семьей. Был

добровольцем во французской армии, заболел и был освобожден. Решил, что самое главное сейчас это продукты питания. Их жестоко не хватало, особенно у нас на юге. «Сел на землю». Завел корову, свиней, кур, большой огород. Пошло очень удачно, но жаловался, что устает. Сил мало. Очень обрадовался моему предложению послать к нему доктора.

Через несколько дней доктор явился из Парижа ко мне. Очень молодой, невысокий, с прямыми прядями светлых волос. Простоватый. С измученным лицом. Голубые глаза по-детски доверчивые.

На ферме он очень хорошо ужился. Был полезен, услужлив. Старался говорить со всей семьей по-французски. Иногда по вечерам спускался с горы ко мне побеседовать. Я знала его невесту Ивонну и ее мать. Он любил говорить о них. Тихие, смирные женщины. Трудлюбивые. Именно такая семья, какая ему нужна. Когда Ивонна, еще очень молодая, научится шить, они откроют маленькую мастерскую. Он найдет работу, у них прелестная маленькая квартира. Это будет счастье.

С первой встречи, из первого разговора мне показалось, что это не может быть человек с высшим образованием.

Он очень скоро рассказал мне, что никогда не учился медицине. Был в гимназии, в Москве. Не кончил. Перешел на фельдшерские курсы, чтобы не идти на войну солдатом. Ему не дали кончить, забрали в санитарный отряд: медицинского персонала не хватало. Ему приходилось всё делать: подбирать раненых и убитых после сражений; помогать докторам; самому лечить и даже оперировать. При нем всегда была кожаная сумка с необходимыми для скорой помощи инструментами и лекарствами. Он не расставался с ней. Его прозвали доктором и это прозвище осталось за ним.

Он надеялся после женитьбы найти место в Париже в госпитале. Все равно, хоть пол мыть, но потом поймут, что у него много знаний и он продвинется выше.

Удивляло меня тоже, что он никогда не говорил о советском режиме, о партии, о правительстве, уклонялся от таких разговоров, но горячо хвалил всё, что было в Советской России.

Всё там было лучше, чем здесь. Москва красивее Парижа. Улицы чище и шире. Театры, кино, концерты, литература, всё лучше. В этом уже звучала больная нотка тоски по родине.

— Почему же вы сбежали, если там так хорошо?

— Сейчас я дезертир и мне вернуться нельзя. А убежал я при высадке, потому что наглупил на пароходе. Я много навидался на войне и до войны. И хорошего и плохого. Много страшного. Но я не хочу говорить об этом. Не хочу критиковать. Я не член партии, но я знаю, что на моей родине у каждого человека есть цель в жизни, а у вас здесь этого нет. Там есть цель изменить человека и все общество. Ради этого надо молчать о плохом. Оно временное, пройдет. Но на пароходе меня вызвали на разговор, на спор. Я не сдержался и наговорил такого, чего мне не простят. Поэтому я сбежал. Теперь надо устраиваться здесь?

Самое главное для него было достать поддельный паспорт русского эмигранта. Он хлопочет об этом усиленно.

Как-то утром пришел он с горы, ехал в Ниццу, где ему нашли через знакомых в Париже такой паспорт.

Мне эта поездка днем не понравилась.

— Вы уверены в этих людях?

— Вполне, кроме того кто меня узнает в штатском?

На нем были поношенный куцый костюм, пальто и смешная фетровая шляпа надвинутая на лоб, чтобы спрятать лицо. На затылке немного длинные пряди плоских светлых волос.

Уезжая «доктор» попросил разрешение оставить у меня пальто. День был теплый.

Перед вечером я поджидала омнибус, с которым он должен был вернуться, у себя на кухне, она же столовая и гостиная. Читала газету. Передо мной на столе только что сорванные принесенные мне апельсины. Дверь в кухню, прямо выходящая на маленькую площадь, была открыта...

Группа ребятишек подбежала с криком: на большой площади русский военный автомобиль. Русские солдаты идут ко мне. За ними рослый русский военный, вероятно унтер-офицер, важный и надменный, и краснощекий добродушный солдатик, между ними «доктор». Истрепанный, измученный, без шляпы. Попался бедняга!

Вошли, еле здороваясь. Унтер огляделся, презрительно:

— Вот вы как здесь живете.

Мой ответ:

— А у вас лучше?

Показывая пальцем на «доктора»:

— Мы пришли за его вещами. Есть еще вещи?

— Пальто, вот оно, а вещей больше нет.

Мне ужасно хотелось поговорить с ними, какие бы они ни были. Я предложила им сесть. Предложила апельсины. Унтер только мотнул отрицательно головой. Солдатик взял апельсин, положил в карман и за спиной унтера весело подмигнул мне.

— Теперь идем на ферму. Нам нужна сумка с инструментами.

— Куда же вы пойдете на ночь. Туда дороги нет. Тропинка среди камней. Еще заблудитесь в горах.

— Ничего, мы привычные, — и ушли.

Последний голубой взгляд «доктора», полный отчаяния.

Я думала, что никогда больше не услышу о нем. Но ему снова удалось сбежать с парохода перед самым отплытием. Направился в Париж, конечно к Ивонне, как к себе домой. Но там были перемены. Эти смиренные тихие женщины были напуганы всеми этими передрягами: побег, аресты, паспорт и так далее.

Мать Ивонны, еще молодая, рано потеряла мужа, воспитала дочь тяжелым трудом. Они были очень дружны. Мать, характером более сильная и решительная, уговорила дочь. Что еще с ним может случиться, какую он найдет работу? Им придется содержать его. Этот брак надо отложить. Венчаться сейчас — абсурд.

Ивонна поплакала, но согласилась. «Доктор» не получил окончательного отказа, а просьбу подождать. Его приглашали приходить к ним, кормили его, но мать никогда не оставляла их одних. Ивонна не уходила с ним гулять или в кино.

Словом, он стал хорошим знакомым и только.

Знал, где они прячут ключ от квартиры, уходя на работу: под коврик перед дверью, как тогда полагалось. Он пришел раз днем, вошел в квартиру и, вероятно в припадке буйного помешательства, там все переломал. Побил посуду, сломал

стулья, порвал простыни, разрезал одеяла, выпустил пух из подушек. И исчез.

Позже узнали, что его заперли в дом для душевнобольных.



ОЛЬГА ИОРК

МАРИКА

В Париже сеял мелкий холодный дождь. Начался он еще с весны и грозился продлиться до поздней осени. Напрасно парижане, с подавленным вздохом, устремляли глаза в серое небо. Оно не проявляло никакой склонности к перемене. Вчера, сегодня, завтра и послезавтра — всё так же будет мокро, сыро, темно, безнадежно.

Чтобы воспользоваться вполне летними ваканциями, надо было пересечь всю Францию вплоть до Средиземного моря.

Там, по крайней мере, можно быть уверенным в успехе летнего отдыха, в искрящемся синем море, в ясном синем небе, в синей дымке горячих гор. Это — лазуревый берег «Кот-Д'Азюр».

Беспросветные дождевые облака, как заколдованные, оседали на Средиземноморских горах и... поворачивали обратно.

Семья Малышкиных из года в год — для верности — ездил на лето в солнечные Канны. Как и полагалось, труженника отца оставляли одного дома, снабдив его наставлениями по хозяйству, а мать, дети и нянька погружались в один из переполненных до отказа каникулярных поездов.

На этот раз они изменили эмигрантскому пансиону на «Вилла Барон», заблаговременно попросив знакомых приискать им две комфортабельные комнаты с правом пользования кухней в частной квартире и, непременно, поближе к берегу моря. Комнаты нашлись недалеко от улицы Д'Антиб.

Длинный как жердь хозяин квартиры оказался бывшим фельдфебелем русских воинских частей, отправленных еще в войну четырнадцатого года во Францию. Фамилия его была Бондарь. Его провансальская жена, среднего возраста, величала себя на французский лад — мадам Бодар.

Бондарь, так и не научившийся как следует по-французски, объяснялся с женой жестами и на каком-то своеобразном «валяпюке»: смеси французского с офранцузженными русскими словами. Но они понимали друг друга.

Разложив вещи, Малышкина попросила Бондаря прежде всего приискать ей приходящую прислугу, умеющую готовить русские блюда и прибирать комнаты, всего часа на три-четыре.

— Одним словом, чтобы всё было готово к нашему возвращению с пляжа.

— Што ж, енто можно вполне, — согласился Бондарь, — вот я вам пришлю Марику, хорошая бабочка, не так давно из Расеи. И котлеты вам, и пироги, и борщ — всё может сварганить. Я с ейным братом Костей переговорю. Он здесь мороженым на тележке торгует. Вот к вечеру выйдем с вами на улицу Антиб — там он завсегда у углового бистро. Мы его и атакуем.

К вечеру госпожа Малышкина вышла с Бондарем к бистро. На углу стоял негр-африканец, продававший мороженое.

— Эй, Костя! — закричал Бондарь, пересекая улицу. — У меня к тебе дельце, насчет Марики.

— А что? — отозвался негр на чистейшем русском языке.

— Да вот, квартирантка моя, русская барыня Малышкина поспрашивает. Познакомьтесь.

Костя, ослабившись, протянул Малышкиной свою черную руку.

— Здравья желаем, барыня!

Малышкина в смущении пожала протянутую руку. Она вытаращила на негра круглые глаза и застыла от изумленья.

— Барыня вот, приходящую прислугу ищет и, чтобы русскую кухню готовить.

— Што ж, это можно. Марина как раз подходящая и сейчас без работы. Я ее вечером увижу, и пришлю ее к вам.

Около них остановился, с вопросом на сморщенном лице, почтенный господин, с ленточкой почетного легиона в петлице.

— Мадам говорит по-африкански? — спросил он с любопытством.

Малышкина рассмеялась.

— Ну, да! конечно, я долго жила в Африке.

— Это — курьёзно!

— Так мы на тебя, Костя, будем надеяться, устрой это поскорее, — Бондарь похлопал Костю по плечу. — Ну, пока, брат.

— До свиданья, — ответил Костя. — Всего хорошего, барыня, — пришлю вам Марику.

— Спасибо, — сказала Малышкина и снова пожала протянутую ей черную руку.

Бондарь с Малышкиной повернули домой, а старый француз всё еще стоял, выпучив глаза, рядом с мороженщиком.

— Что всё это значит? — спросила Малышкина, когда они отошли за угол. — Каким образом негр так хорошо говорит по-русски? Значит его сестра Марика тоже черная?

— Конечно, Марика тоже негритянка. Они только недавно из Рассеи, с Кавказа.

— Каким же образом они туда попали? И почему теперь они во Франции?

— Я уже и замятовал. Знаю только, что отец их там умер. Вот они там и застряли. Ну, и говорить обучились.

— Вот любопытно! Буду ждать вашу Марику.

Марика пришла рано утром. Малышкины еще сидели за утренним кофе. Ввел ее Бондарь.

— Марика пришла — получайте! — и мигом скрылся, заспешил на работу.

— Здравствуйте, барыня, — приятным низким голосом сказала Марика, и с достоинством поклонилась.

— Здравствуйте, Марика.

Перед Малышкиной стояла среднего роста крепкая негритянка темно-шоколадного цвета, одетая в свежее рабочее платье с серым передником. Нижняя толстая губа ее выдвиглась вперед подноском. Большие, выпуклые как у ло-

шади, глаза ее чернели в синеве огромных белков. Белые крупные зубы приветливо улыбались.

Было как-то странно слышать привычные звуки родного русского языка из этого толстогобубого рта.

Малышкина сговорила с Марикой насчет работы и закидала ее вопросами. Марика еле успевала отвечать беспрепятственно перебивавшей ее барыне.

— Мы — африканцы из Того. Тогда Того было еще немецкой колонией. Мой отец был состоятельный торговец, торговал африканскими коврами. Он имел пятерых жен. Самой младшей и самую любимой была моя мать. Уже пятнадцати лет она имела двоих детей: меня и брата. Отец повез ковры в Батум на продажу и захватил с собою мою мать с нами — малолетками. А тут началась война. Сообщение морем прервалось. Мы застряли на долго в этой стране. Потом отец заболел холерой и помер. Мать осталась одна. без языка, в чужой стране, с двумя крошками. Одна добрая русская барыня пожалела ее и предложила ей переехать с детьми к ней в имение, под Батумом. Мать помогала в доме, в саду. Там мы с братом и провели всё свое детство. Сама барыня научила нас говорить по-русски, потом читать, писать, а как подросли отправила нас в школу, в гимназию. Мы оба получили свидетельства об окончании восьми классов. Зато позабыли свой родной язык. Революция была в разгаре, с голодом, болезнями, беспорядками. Мать нашу унес сыпной тиф. Мы совсем осиротели, а в Того у нас десятки братьев и сестер. Барыня наша скончалась в нищете. Большевики у нее всё имущество отобрали. Мы поступили работать. Надо было как-то жить. Но революция затягивалась. Жалованья не хватало — не успевало гоняться за дороговизной. Да и всё исчезало с рынков. Мы стали серьезно подумывать о возвращении в Того. Мы отправились к французскому консулу за советом. К тому времени Того уже стало французской колонией. Он дал нам визу во Францию и посоветовал по началу пожить на юге Франции. Нас репатриировали за французский счет и выдали еще по сто франков на руки каждому. Вот мы и попали в Канны. Костя поступил к русскому мороженщику, а я хожу по домам: по уборке, стирке и глаженью, или к детям. Так и

«пробавляемся» понемногу, но мечтаем, все-таки, вернуться в Того к своим.

— Вот уж, неисповедимы пути Господни! — восклицала госпожа Малышкина.

Марика крепко привилась в семье Малышкиных. Готовила она прекрасно. Вся семья, после солёного купанья и жаркого южного пляжа, возвращалась домой к часу дня — размарённая, усталая. Так приятно было застать дома черную Марику, с ее широкой приветливой улыбкой, сесть к накрытому столу в ожидании обеда. Запах малороссийского борща и горячего пирога с мясом раздражал аппетит и все, с благодарностью Марике, усердно принимались за еду.

Прибрав всё со стола, пообедав и перемыв посуду, Марика получала свои франки и уходила к себе до следующего дня. А семейство Малышкиных заваливалось спать до спадения жары, когда дышалось легче и свободнее. Тогда они снова отправлялись к морю, на прогулку вдоль берега.

Неожиданно госпожа Малышкина получила телеграмму от мужа:

«Дали две недели отпуска. Приеду завтра».

Малышкина предупредила Марику впустить барина и помочь ему, если надо, в ее отсутствии. Около полдня у дверей позвонили. Открыла Марика. Перед ней стоял изумленный господин с чемоданом в руке. Он неуверенно осведомился, здесь ли квартира господина Бондарь.

— Я не ошибся?

И с еще большим изумлением услышал из негритянских уст:

— Нет, нет, не ошиблись. Здесь, здесь ваши живут. Пожалуйста, заходите в комнаты, господин Малышкин. Давайте ваш чемодан, я вам подсоблю.

— Кто вы такая? — оторопело спросил Малышкин, не веря своим глазам и ушам.

— Я приходящая прислуга, убираю, готовлю на вашу семью, пока они на пляже.

— Никак не ожидал! Никак! — бормотал Малышкин в изнеможении опускаясь в кресло.

Малышкин долго не мог прийти в себя от изумления, пока его жена не разъяснила ему историю Марики.

За лето все крепко привязались к чудесной Марике, особенно дети, и огорчились расставанием с ней. Зато уговорились на будущее лето снова взять ее к себе в прислугу.

Увы, это не осуществилось. Марика и ее брат добились отправки их в Того к многочисленной семье своего отца.

Семейство Малышкиных получило, все-таки, от верной Марики открытку с горячим приветом из горячей Африки.

Кто знает, может быть теперь, когда Того стало свободным государством, Марика и ее брат занимают там видное положение в сношениях Того с СССР, при их прекрасном знании русского языка.

Поистине «Неисповедимы пути Господни!», как нередко вздыхала Малышкина-мать.



Р. САДОВСКАЯ-ГРО

ОДНИ СУТКИ

Одно, что осталось у Анны, ради чего стоило жить, единственная радость — сын, маленький Алик, умирал.

Еще накануне вечером шаловливо прятал он свою пушистую головку в коленях матери, обнимал за шею, звонко смеялся. А на рассвете — запавшие глаза, восковое личико, бескровные губы, тяжелое прерывистое дыхание, резкий кашель. Она хорошо знала симптомы этой страшной болезни. Круп! Нужна немедленная помощь, может быть операция. Заметалась по комнате, хватала ненужные вещи, бросала их, забывала что нужно сделать. Подбежала к кровати, схватила мальчика на руки и выбежала из дома. В отчаянии умоляла у дверей крестьянских изб дать лошадей, кричала, что умирает сын, что нужно его немедленно везти в больницу. Но избы стояли пустые и молчаливые: все были на полевых работах.

Спотыкаясь, боясь выпустить Алика из рук, шатаясь под тяжестью шла Анна по проселочной дороге. Казалось, еще несколько шагов и упадет, не в силах двигаться дальше. С ужасом и болью смотрела на запекшиеся губки ребенка, на личико, что постепенно синело, как у мертвеца. Идти! Бежать! Скорей в больницу! Только там надежда, спасение только там.

Жара, невыносимая жара... Тяжесть ноши и усталость заставляли замедлять шаги. Уже садилось солнце, вечерняя прохлада повеяла на землю, когда дошла до районной поликлиники. Упала в полусознательном состоянии на крыльцо, не в силах постучать в дверь. Пришла в себя уже в приемной доктора. Не спрашивая, бросилась к дивану на котором лежал Алик. Без стона, без единого звука замерла возле мертвого ребенка.

... Шла за гробом ничего не видя перед собой. Не могла плакать, облегчить тяжесть утраты слезами. Сухие глаза горели как в огне, горло сжимали спазмы. Какие-то незнакомые женщины сочувственно поддерживали ее под руки, что-то говорили, старались утешить.

... Анна возвращалась домой. Есть ли у нее теперь дом? Нужен ли он ей? Сможет ли теперь жить, работать? Зачем? Для кого?

... Когда вышла на перрон киевского вокзала, неожиданно нахлынули воспоминания. Ярko встали в памяти последние слова Николая который сказал вместо прощанья:

— Береги сына...

Его вывели из дома ночью, как и всех тех несчастных, обреченных на пытки и смерть. Он был готов к наихудшему, но все-таки думал в такой тяжелый момент о желанном и дорогом — будущем сыне. А Анна подавляя горе и слезы, сжимая ему руку спрашивала:

— А ты уверен, что будет сын?

После той ночи начала болеть и преждевременно родила мальчика.

Где он теперь ее любимый Николай? Что скажет отцу, если вернется? Сможет ли нанести тяжелый удар, сказать о смерти сына?

Думала о сосланном муже, о его возвращении, как о чем-то недостижимом и несбыточном. И только где-то в глубине сердца тлела искра надежды: бывали же такие редкие случаи, когда ни в чем неповинные люди, возвращались из ссылки домой, истерзанные, больные, с нарушенной психикой. Может быть вернется и ее Николай. Она знала, что он был жертвой дикого произвола. Не был ни в чем виновен.

... Не заходя домой пошла на предприятие. Села за свой стол. Начинался рабочий день. Через час ее вызвали в кабинет директора. Сразу же, не здороваясь, он сурово сказал: — Вы, гражданка Кононенко, опоздали из отпуска на целые сутки. Я рассматриваю это, как злостный невыход на работу.

Едва шевеля губами Анна ответила:

— У меня умер сын. Я хоронила его...

— Никакие причины невыхода на работу, по новому сталинскому закону, не принимаются во внимание. За опоздание на 20 минут люди подлежат судебной каре, а на целые сутки, тем более. Я передаю дело в суд.

Бледная и молчаливая тихо пошла к дверям.

... Суд был «скорый и правый». Но на суде, когда волнуясь рассказала о смерти сына, о пережитом, о тяжести потери, даже на глаза суровой женщины-судьи навернулись слезы. Скрываясь и стыдясь их отвернулась, чтобы никто не заметил минутного проявления человеческих чувств.

... Анна не просила ни помилования, ни изменения судебного приговора: год тюремного заключения.

... Два милиционера выводили ее из зала суда. Анна спускалась по лестнице впереди них. Вдруг наклонилась над перилами и бросилась с четвертого этажа вниз. Послышалось глухое падение тела, да чей-то пронзительный крик.



ОЛЬГА КОЖЕВНИКОВА

ПАМЯТИ М. Н. ЕРМОЛОВОЙ

В списке народных актрис республики — первым значится имя Марии Николаевны Ермоловой.

Двенадцатого марта 1928 года в 7 часов 20 минут утра ее не стало.

С необычайной торжественностью хоронила Москва «последнюю романтическую героиню прошлого».

Ночное погребальное шествие при свете факелов через всю Москву. Белый гроб, освещенный прожекторами, кажущийся прозрачным, точно из алебастра. Белый катафалк, увенчанный лаврами, как триумфальная колесница, горы белых цветов, и бледная, молчаливая, сосредоточенная, идущая за гробом толпа.

М. Н. Ермолкову похоронили под Москвой, во Владыкине, где в убогом домике доживал когда-то ее старик отец, и куда она любила уезжать летом. Здесь она просила похоронить ее. Здесь ее могила.

Светлой памяти Марии Николаевны Ермоловой, ее великому сердцу, ее ангельски-ласковому отношению к «единому от малых сих» посвящаю я этот очерк.

**

Имя Ермоловой я услышала впервые в самом раннем детстве. В нашей семье ее боготворили все, начиная с бабушки, и я рано привыкла благоговеть перед этим именем. То огромное, острое чувство счастья, которое дала мне впоследствии дружба с М. Н. Ермоловой, несмотря на разницу наших лет получило свой первый толчок в тихие зимние вечера, в полумраке детской, когда я сладко засыпала под восторженный шепот вернувшихся из театра взрослых. Первые грезы сна мешались с рассказами о ней, с прекрасными образами, еще не вполне ясными, но обаятельными, сердце переполнялось счастьем. Увидеть этот сон наяву сделалось моей мечтой. Я ощутила бессознательно то, чем была

Ермолова для людей старше меня одним или двумя поколениями, полюбила ее их любовью.

Был объявлен торжественный юбилейный спектакль «Измена» Сумбатова. М. Н. Ермолова возвращалась в Малый театр после годичного отсутствия, и должна была выступить в роли царицы Зейнаб. Мне было 11 лет. Я не смела и думать о таком счастье — увидеть Ермолову, но бабушка моя, читавшая по глазам, сжалилась надо мной, и меня повезли в Малый театр. В первый раз.

Помню мягкий полукруг амфитеатра, занавес «из Сафо» и этот, ставший потом таким знакомым и милым сердцу, старенький зал.

Сердце стучит, как молодой дятел. Занавес раздвигается. На сцене Грузия, — поработенная гордость и честь, — и на фоне догорающего заката — другой великий закат — Ермолова — царица Зейнаб в томлении, в смертной тоске.

Она показала мне слишком суровой и голос слишком низким. Нет, не такую я ее себе представляла. Такую любить нельзя. Ее можно только бояться. После первого акта у меня было чувство горького разочарования. Но второй акт, сцена с Южиным, эта страстная вера, эта откуда-то появившаяся мягкость, эта робкая мечта о светлом будущем Грузии, о том, что «свободный народ будет снова молиться в свободных церквах», всю душу во мне перевернули. И когда, в конце акта, появляется Ленский в виде странника, и со словами: «Христос Воскресе!» Зейнаб падает ему в объятия, и акт кончается на этом ликующем «Христос Воскрес!» — я помню только горячие слезы, струившиеся у меня по щекам, и возмущенные возгласы окружающих: «Разве можно такую нервную девочку брать в театр?!» Сердце мое было отдано Ермоловой раз и навсегда, и никакой критике не было больше места в этом сердце.

С тех пор я жила от спектакля до спектакля с участием Ермоловой. Я видела ее во всем, в чем только можно было ее видеть. Но это, действительно, был «закат». Она переходила на роли матерей, играла их с необычайной простотой и силой чувства. Никогда не забуду я созданного ею образа в «Без вины виноватые», но подлинного ее существа, Ермоловой-героини, больше не было.

Как последний осколок прошлого, видела я отрывок из

«Мари Стюарт». Каким трагическим огнем горели мрачные глаза Мари Стюарт! Как классически медленно, с какой гордой покорностью, опускалась Мария на колени перед Елизаветой! Это необычайное искусство жеста уносило с собой исчезнувшее поколение великих старых актеров, у которых пластическое совершенство являлось естественным завершением трагического гения.

«Шли годы, бурь порыв мятежный», частые поездки за границу, новые страны, первые увлечения — всему отдала я дань, но осталась верна Ермоловой и Малому театру.

Мое 16-летие торжественно праздновалось, по-московски. Большой бал. 100 человек гостей. Я кончала гимназию, родители предоставляли мне полную свободу, передо мной были открыты все пути, но сердце мое сжималось тоской. Что делать дальше? Есть ли у меня то призвание, та сила могучая, что была у Ермоловой, когда она стояла у порога жизни? Она знала свой путь, а я? И я решила просить у Ермоловой совета и благословения.

Мы не были знакомы. Я знала, что она никого не принимает. Я написала ей горячо и страстно — как теперь уже больше не напишу — письмо и решила отнести его сама.

Был волнующий мартовский день, струи теплого воздуха и холодного весеннего ветра с Москвы-реки, тоненький ледок на лужах, когда я шла по Тверскому бульвару к дому М. Н. Ермоловой. Я остановилась у низкого подъезда, под нависшей стеклянной верандой, позвонила и окаменела. Отворивший дверь лакей два раза спросил меня, в чем дело. Я подала ему письмо и сказала, что буду ждать ответа. Он ушел наверх, а я осталась в большой передней, где теплилась печка. Я прислонилась к ней и закрыла глаза.

Прошло минуты две-три... или четверть часа, не знаю.

— Мария Николаевна готовы вам содействовать, они просят вас наверх, в классную, — произнес чей-то голос.

Я стала подниматься по широкой лестнице, ведущей в зал, затем по другой, старой, узкой и крутой, и увидела впервые этот странный, таинственный дом, который М. Н. Ермолова называла «масонской ложей». — «Буду здесь сидеть пока не развалится наша масонская ложа».

Меня охватил завораживающий запах, — до сих пор могу я вызвать эту галлицинацию обоняния, — который стано-

вился всё сильнее по мере того, как я поднималась. Дверь распахнулась, и я очутилась на пороге огромной светлой комнаты. Мне бросились в глаза знамена, лавровые венки, корзины цветов с разноцветными лентами. Свет ослепил меня. Я покачнулась и ударилась о шифоньерку.

— Ну, вот, начинается с синяка! — послышался низкий голос. — Идите сюда, дайте на вас посмотреть.

М. Н. сидела справа за столиком и раскладывала пасьянс. Она подняла на меня глаза и посмотрела внимательно, затем протянула мне руку. Я низко присела.

— Садитесь. Чего же вы от меня хотите?

Я молчала.

— Ну что же, вы немые?

Сердце у меня сжалось предсмертной мукой. Мне захотелось умереть. И я подумала: «Зачем попала в это святое святых?»

— Я не знаю, что сказать. У меня всё в голове перемешалось.

— Так нельзя, надо взять себя в руки.

М. Н. была со мной строга и сурова в это первое наше свидание, сказала, что она не берет на себя решать мою судьбу, что она плохой судья, плохой учитель, никогда с молодежью не занималась, и что она скажет про меня Гликерии Николаевне Федотовой и попросит ее меня прослушать.

Я ушла с чувством приговоренного к смерти.

Стоило ли жить, раз Мария Николаевна отказалась от всякого участия в моей судьбе?!.. Всё рухнуло навсегда и безвозвратно.

Через несколько дней я получила от М. Н. письмо. Она писала, что Г. Н. Федотова согласна меня прослушать. «Только, ради Бога, не очень волнуйтесь! Она очень добрая и милая женщина».

Г. Н. Федотова, уже прикованная к креслу, приняла меня ласково и сердечно. Узнав о том, что я внучка профессора А. Я. Кожевникова, она несколько раз повторила:

— Чудный человек был ваш дедушка! Если бы он был жив, я была бы здорова! Не умеют они теперь лечить. Не понимают, что у меня это нервное! — и ко мне: — Ну, что же вы нам прочтете?

— «Белое покрывало», — сказала я.

Г. Н. побранила меня за выбор.

— Не дело молодежи выбирать тенденциозные стихотворения. Молодежь должна быть беспартийной.

Она откинулась на спинку кресла и с большой серьезностью прослушала мое чтение.

Когда я дошла до «Ведь кровь венгерская в тебе!» она лукаво посмотрела на меня своими большими черными глазами и с улыбкой покачала головой.

— Ну, что же, очень хорошо, друг мой, очень! Много своего, горячего, дикого. В вас еще зверенок сидит. Темперамент такой, что ой-ой-ой! Молоды вы еще очень. Сколько вам лет?

— Шестнадцать.

— Ну, что же, мы в ваши годы уже играли. Вы еще учитесь?

— В этом году кончаю гимназию.

— Ну, вот, приходите на будущий год. Если буду здорова, буду силы, я вами займусь.

Я ушла от нее окрыленная. Слава Богу, не провалилась! Но на сердце по-прежнему лежал камень. М. Н. Ермолова сидит теперь за своими семью замками и забыла думать обо мне. Что бы я дала за ее ласковый приговор!

И тут совершилось чудо. Таким оно казалось тогда всем и таким кажется и мне теперь, когда я разучилась сильно желать и верить в жизнь.

Мы решили поставить в гимназии спектакль — сцены из «Орлеанской Девы» Шиллера, и я должна была играть Жанну д'Арк. Сами писали декорации, устраивали подмости. Режиссировала молодая балерина Императорских театров, Шуша Сергеева, мечтавшая перейти в Малый театр. Она же играла Агнессу Сорель.

Не говоря никому ни слова, я решила пригласить на спектакль М. Н. Ермолову.

За две недели до спектакля я снова отправилась в таинственный дом на Тверском бульваре.

М. Н. была больна гриппом и не приняла меня. У меня явилась мысль притвориться больной и отменить спектакль, но я этого не сделала. Через неделю я снова пошла к М. Н. Ермоловой. На этот раз она приняла меня «на минут-

ку», но показалась мне такой слабой, больной, такой старой, и мысль о неизбежном конце явилась у меня вдруг с такой острой болью, что мне нужно было собрать все усилия, чтобы не разрыдаться.

Я сказала ей про наш спектакль.

— У меня грипп, — ответила она, — и когда я поправлюсь, я не знаю. Но если мне будет лучше, то я приеду на ваш спектакль.

Все последующие дни у меня было светло на душе — точно надо мной встала светлая звезда и освещала мне путь, правильный и желанный.

В день спектакля рано утром М. Н. позвонила мне по телефону и спросила, состоится ли спектакль. На мой вопрос о том, как ее здоровье, она ответила:

— Нездоровье мое еще не прошло, но я думаю всё же быть на спектакле. В котором часу начало? В восемь. Хорошо. До свидания!

— С кем это ты разговариваешь? — спросила мама.

— С Ермоловой, — ответила я. — Она будет сегодня на нашем спектакле.

Мама побледнела и, беспокойно вглядываясь в мое лицо, сказала:

— Ты бы пошла подышать воздухом! Нельзя так весь день сидеть взаперти.

Ровно без пяти восемь, когда ни одного человека еще не было в зале, у подъезда гимназии остановилась карета и из нее вышла простуженная М. Н. Ермолова в сопровождении компаньонки. Мои братья, сторожившие у подъезда, вихрем пронеслись через зал и влетели ко мне за кулисы.

— Начинай волноваться! Ермолова приехала!

Но я начала волноваться задолго до этого...

О том, что было дальше, у меня осталось воспоминание транса, страшного напряжения всех сил, скрипящих подмостков и черного провала перед ними.

И из этой черной бездны, как маяк, вспыхивало вдруг белое пламя, то был белый теплый платок Ермоловой, сидевшей в первом ряду.

Занавес со скрипов задернулся. «Орлеанская Дева» кончилась. Я спустилась с подмостков и потихоньку прошла в соседний темный класс.

Раздались голоса: «Где же, где она?» и М. Н. Ермолова, кутаясь в свой белый платок и кашляя, показалась в дверях. Увидя меня в темноте, она прямо направилась ко мне, взяла меня за жесткие черные волосы, — у меня был черный парик до пят, — и со словами: «Зачем эта черная грива? Вы гораздо лучше без нее!» — притянула меня к себе и поцеловала несколько раз.

И тихо, так чтобы никто не мог слышать, сказала:

— У вас всё для того, чтобы играть. Очень много чувства, голос хороший... и может быть лет через десять-пятнадцать вы ее сыграете. Но сейчас это было не хорошо. Вы дергались, а не играли. Страх был, но это не был страх Орлеанской Девы перед небесным проклятием, а ваш собственный нервный страх. Надо отойти от себя. Вы это потом поймете. Приходите ко мне завтра. Я хочу с вами пройти эту роль.

Она обратилась затем к Шуше Сергеевой, похвалила ее: — Вы хорошо читаете.

Сказала каждому из учствовавших несколько слов и подошла к моей маме прощаться.

— Извините меня, я поеду. Мне нездоровится. Я нигде не бываю. Это Оля меня сегодня вытацила.

Мама молча посмотрела на нее, и они крепко поцеловались

На следующий день я уже бодро и радостно переступила порог таинственного дома на Тверском бульваре. М. Н. приняла меня как родную, угостила шоколадом, прочла сама несколько отрывков из «Орлеанской Девы», чтобы показать мне, как надо читать, объяснила мне многое в этом образе, чего я не понимала, заставила прочесть несколько других стихотворений полегче, даже басни, и нашла, что я читаю их лучше, чем монолог из «Орлеанской Девы».

Весной, по окончании гимназии, я уехала за границу и, вернувшись в Москву осенью, принесла М. Н. Ермоловой здельвейс. Я сказала ей, что поступила на историко-филологический факультет.

— Философия? — поморщилась она. — А что же театр?

— Я буду брать частные уроки, а там видно будет. Родители хотят, чтобы я получила высшее образование.

— Другие времена, другие песни. Нас еще учили читать и писать.

Вспоминая теперь то далекое время, я благодарна Марии Николаевне Ермоловой за каждый час, за каждый миг, проведенный со мной. Какое горячее участие принимала она во всем: в первых моих шагах на сцене и в первых бурях моей внутренней жизни!

Тяжелые годы войны, омрачившие мою юность, прошли под ласковым светом моей дружбы с М. Н. Ермоловой, дружбы высокой и чистой, как горный эдельвейс.

В последний раз я встретилась с М. Н. в январе 1919 года, на улице, возле церкви Большого Вознесения на Никитинской.

— Простите, — сказала я ей, — я спешу и не успею зайти проститься с вами. Завтра я уезжаю за границу.

Она посмотрела на меня своими, уже видящими другой мир, глазами и сказала:

— Да хранит вас Бог! Поезжайте, и что бы ни ждало вас впереди, верьте в Бога и правду Его, и тогда жизнь не страшна. А я буду за вас молиться здесь, в этой церкви.



АРИАДНА МИКЕШИНА

Микешина, Ариадна Михайловна, композитор и пианистка родилась 17 октября 1900 г. в Ялте. «Композиторов женщин было очень мало и большинство их работ не представляет особенной ценности для серьезного мира музыки. Поэтому М. явление необычайное с яркой русской индивидуальностью». (Из статьи Николая Штембера, лауреата Московской Консерватории, пианиста, ученика и племянника композитора Николая Медтнера). М. происходит из высокохудожественной семьи: ее деды — художник академик Афанасий Рокачевский, и знаменитый скульптор Михаил Микешин. С шестилетнего возраста, живя в Киеве, она занималась по роялю с матерью, пианисткой и певицей, которая развивала в дочери любовь к музыке, водила ее в оперу и

на концерты. Восьми лет была принята на стипендию А. Зилоти, став любимицей СПб Консерватории по классу рояля у профессора Н. Лаврова, ученика А. Рубинштейна. Впервые обнаружила композиторское дарование в возрасте двенадцати лет в классе обязательной гармонии. Вот случай, который определил ее музыкальную дорогу. Однажды был задан аккомпанемент для простенькой темы. М. написала как «надо», а потом, преследуемая темой и уже владея фортепьянной техникой, создала «Концертный Этюд» на ту же тему. Эта работа была передана композитору Александру Глазунову, в то время директору Консерватории. Он попросил ученицу прийти.

«Барышня, я познакомился с вашим Этюдом. Вы обладаете композиторским чутьем, фантазией, разнообразием в гармонических оборотах. Советую, это вам не повредит, — пошутил он, — после окончания курса рояля прийти в мой класс по композиции». Этому не суждено было осуществиться, так как в 1917 г., в дни революции юная М. покинула родину, приехав в Токио (Японию), где жила около года, дав там несколько концертов. Однажды в кругу друзей М. сидела у рояля. Стали просить сыграть что-нибудь русское, «великое». По памяти М. стала играть темы из оперы Мусоргского «Борис Годунов», закончив торжественно колокольным звоном.

«Концертная Фантазия» для двух роялей на темы из «Бориса Годунова» стала ее первым крупным композиторским опытом. Среди друзей в Токио была поэтесса Наталия Дудорова, внучка двух больших поэтов — Баратынского и Тютчева. Однажды она принесла томик своих стихов, — и родилась первая песня «Дождик». Начался важный период творчества, вдохновенного поэзией, появились песни. В 1918 году М. приехала в Америку. Первым городом был Сан Франциско. Знакомство с лирикой Александра Блока толкнуло композитора на создание «Тетради из четырнадцати песен» на его стихи.

Бунин, Гумилев, Гиппиус, Городецкий, Голохвастов, Есенин, Лермонтов, Северянин, Цетлин и много поэтов других стран, нашли отражение в музыке Ариадны Микешиной. В 1930 г. М. поехала в Рим, где три года занималась в классе по усовершенствованию музыкальной формы и оркестров-

ки в Академии Санта Цецилия под руководством итальянского композитора, ученика Н. Римского-Корсакова, Отто-рино Респиги.

Каталог ее работ очень обширен. Около ста сочинений для голоса и рояля, композиции для соло рояля, двух роялей, виолончели и скрипки. Нельзя не привести несколько слов из музыкальной заметки о «Русской Рапсодии» для скрипки и рояля (опус 64): «Во всей русской скрипичной литературе это единственная композиция, где так ярко выражен русский народный дух. Написана Рапсодия с большим подъемом и размахом, и захватывает, как исполнителя, так и слушателя своим непосредственным чувством, блеском и мастерством изложения». Струнный квартет, Концерт для тромбона и оркестра, партитуры для большого и малого оркестра. Кантата «Молитва о Мире» для хора и оркестра на поэму итальянского поэта Армандо Романо. Балеты: Андалузская пастораль «Кристобаль» и «Арлекин». Музыка для двух драматических пьес. «Антифон» для церковного пения. Среди дирижеров, исполнявших ее композиции в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Лос Анжелосе, Рочестере и в Риме: Генри Ротвель, Умберто Жиордано, Соколов, Смаленс и Николай Малько.

М. живет в Нью-Йорке и каждые шесть-семь лет объявляет концерты своей музыки. Ее произведения продолжают исполняться в Америке и Европе. Пресса признала ее творчество, подчеркивая редкий дар мелодии и высокомузыкальную культуру.

Ариадна Микешина также выступает с историческими докладами-концертами. Один из них «Старинное Русское Песнетворчество» как источник вдохновения композиторов и «История балета» (как на протяжении трех веков композиторами был внесен богатейший вклад в репертуар балетной музыки).

С 1932 г. А. М. состоит членом Русского Музыкального Общества в Париже и Американского Общества Композиторов в Нью-Йорке.

1970 г.

ТАТЬЯНА СМЕРНОВА-МАКШЕВА

Родилась в Билтаве в 1890 г. Окончила Екатеринбургский институт, в Петербурге с дипломом о высшем двухгодичном педагогическом курсе. **СТИХИ** во Францию. До 1969 г. жила в Ницце, в деревушке, в горах «Жиз» на старческую пенсию, зарабатывая художественными и старинными работами и литературой. После 1947 г. осталась без всяких средств. Жила в русском хоре и во французских оперетках и в опере. В зрелом возрасте служила домашней уборщицей. Последней службой — была кухаркой десять лет на одном и том же месте. Между работой, уроками, занималась литературной деятельностью.

Начала печататься во французских журналах и газетах с 1916—1918 гг. Первые стихи появились в газете «Россия» в 1920 году. Затем почти ежегодно — лирические, сатирические и патристические стихи печатались в различных русских газетах: «Новое Русское Слово», «Русская Мысль» и др. Татьяна А. была одной из основательниц Русского Литературного Общества в Ницце.

Она написала два романа. Очерки из них неоднократно появлялись в зарубежной печати. В Ницце труппа местных русских артистов ставила несколько раз ее пьесы для взрослых и для детей.

Всего было напечатано в разных зарубежных органах 40 рассказов, 19 статей и около ста стихотворений.

ТАТЬЯНА СМЕРНОВА-МАКСШЕЕВА

Родилась в Полтаве в 1890 г. Окончила Екатерининский институт в Петербурге с дополнительным двухгодичным педагогическим курсом. В 1913 году уехала во Францию. До 1960 г. жила в Ницце. После поселилась в деревушке, в горах. «Живу на старческую пенсию, прирабатывая художественными кустарными работами и литературой». После 1917 г. осталась без всяких средств. Пела в русском хоре и во французских оперетках и в опере. В зрелом возрасте служила домашней уборщицей. Последней службой — была кухаркой десять лет на одном и том же месте. Между работой, урывками, занималась литературной деятельностью.

Начала печататься во французских журналах и газетах с 1916—1918 гг. Первые стихи появились в газете «Россия» в 1920 году. Затем почти ежегодно ее лирические, сатирические и патристические стихи печатались в различных русских газетах: «Новое Русское Слово», «Русская Мысль» и др. Татьяна А. была одной из основательниц Русского Литературного Общества в Ницце.

Она написала два романа. Отрывки из них неоднократно появлялись в зарубежной печати. В Ницце труппа местных русских артистов ставила несколько раз ее пьесы для взрослых и для детей.

Всего было напечатано в разных зарубежных органах 40 рассказов, 10 статей и около ста стихотворений.

Усталый шаг дорогу мерит.
Вдали война. Вблизи — гроза.
Бреду вперед навстречу смерти,
не видят слабые глаза.

Я не боюсь: ее объятие —
преддверье радостного сна,
где явятся друзья и братья,
моя семья, — их приведет она.

Увижу снова лица дорогие,
услышу смолкшие навеки голоса,
вернусь на миг в места родные,
и станут близки небеса.

На крыльях легких и прозрачных,
за стаяй белых голубей,
умчусь от жизни неудачной,
в мир тайны скрытой и теней.

А то, что мне дано от Бога,
не растворится в злобе и во мгле:
найдя к людским сердцам дорогу
оставят семя на земле.

1968.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Привычное меняется
внезапно, сразу, вдруг —
как будто замыкается
какой-то странный круг.

И в боли одиночества
все мысли об одном,
что сбудется пророчество
забытое давно.

Но что-то надвигается,
толкает в тьму и жуть,
и ближе намечается
неведомый нам путь.

Апрель 1969.

БЕССОННИЦА

Ветер носится и злится
рама старая скрипит.
Ночью мне кошмар приснится —
сердце ноет и болит.
Листья падают на крышу,
в черепице шелестят;
а в углу, в старинной нише,
стрелки у часов стоят.
В них, как будто, жизнь застыла,
не идут давно.
Ветер взвыл, удвоил силу,
застучал в окно.
На полу косые тени...
Через ставню, в щель, луна
луч свой бросила на стены
и лишила сна.
Где-то мышь скребет упорно.
Таёт лунный свет.
Мысли, чувства, — всё минорно.
Скоро ли рассвет?

1968.

Мелькают в воздухе снежинки,
морозные узоры на окне,
по радио, — мотивы Глинки...
Тоскую по загубленной стране.

В моей мансарде мало света;
на крышах снежная сверкает пелена.
Встает вопрос: «За что?» и нет ответа.
Перебираю мысленно погибших имена.
В изгнании бегут года. Морщинки
покрыли сетью всё лицо,
а память повторяет без заминки
о том, что сломано любимое кольцо.
1963.

ПРЯДЬ ВОЛОС

Седых волос отрезанную прядь
в письме издалека прислали;
при взгляде на нее, опять
горит мечта звездой печали.

Наш вижу дом. Окно открыто в сад.
Звучит рояль под нежную рукой.
Волос каштановых развившаяся прядь
на воротник ложится кружевной.

То мать моя играет вальс Шопена.
По небу медленно плывет луна,
на ветках и цветах, — серебряная пена
и дышит музыкой ночная тишина.

Помню я, как вечером, бывало,
меня, ребенком, клали спать.
Крестила мать меня. Лампада озаряла
волос душистых шелковую прядь.

Пришла война. С тоскою безотрадной
рыдала, брата провожая, мать.
седеющих волос дрожала прядь.
Сын утешал: «Вернусь, не плачь... не надо».

Он не вернулся. С ней осталась дочь,
но ей пришлось уйти во мрак и в ночь,

бежать от Родины, от матери, из дома,
и стать скиталицей бездомной.

Была ль она виновна в преступлении?
Иль следовала сердца увлечению?
Нет. Был Истории неясный поворот ...
Куда он вел? Куда ведет??

Седых волос отрезанная прядь
всегда со мной. Не растаюсь я с нею.
О смерти матери мне дали знать ...
О Родине? — писать не смеют.

1970

Приходит Новый Год, а старый исчезает.
Повернута Истории страница,
и вновь надежда воскресает,
что наш народ от пут освободится.

Года минувшие прошли кровавой стаей,
мелькнули грозные, трагические лица:
Вышинский, Ягода, Ежов и Сталин
и с ними прочие убийцы.

Мы здесь состарились в изгнании,
нам прошлое во сне лишь снится,
но в сердце всё ж горит желанье
увидеть, как Россия возродится.

Нас на чужбине ждет могила —
ее земля «да будет пухом»,
но не исчезнет наша сила:
мы — русские и памятью и духом,

и то, что мы оставим поколениям
даст пышные и сочные плоды:
душа не поддается тленью
и не набросить на нее узды.

Декабрь 1969.

К тебе, затерянной в тумане
крылатой думой я лечу,
и о тебе воспоминаньем
я раны старые лечу.

Со мной всегда ты на работе
и разделяешь мой досуг;
печалюсь о твоих заботах
и близок сердцу твой недуг.

Ты мне, по-прежнему, родная,
далекая, больная, ты — моя.
Помочь тебе я способа не знаю
и оттого страдаю я.

Но образ твой свободный и могучий
предчувствую в заветных снах
и верю: разойдутся тучи
и злое обратится в прах,

тогда твои исчезнут язвы
(о чем я искренно молюсь),
и ты воскреснешь, чудом, сразу,
и будешь снова наша РУСЬ.



ЕВГЕНИЯ БЕРЕСТОВСКАЯ

Окончив Театральную школу имени А. С. Суворина в Петербурге в 1912 г. имею звание артистки театра Литературно-художественного общества. Четыре года брала уроки пения, была концертной певицей.

Как поэтесса была членом Союза поэтов в Петербурге и в Югославии. В Словении дала три концерта, как певица и пианистка. В 1927 г. переехала в Белград, где заболевание мужа нарушило все планы. Похоронила мужа и единствен-

ную дочь. В Австрии, к самому концу войны, в 1945 г. потеряла всё и ходила часть лета босая.

В 1950 г. переехала в Зальцбург, из английской зоны в американскую, где начала писать для газеты во Франции «Русская Мысль». Там было напечатано около 25-ти рассказов, фельетонов и небольших статей.

23 января этого года я была ранена в лоб и ногу при автомобильном столкновении, что повлияло на мои слабеющие глаза.

Я УСТАЛА

Я устала сидеть на камнях придорожных
В ожидании проезжих машин.

Я устала желать перемен невозможных
и сползать с фантастичных вершин.

Я устала искать в поездах себе места,

И таскать непосильный рюкзак,

и, бродя обессилив, как смерти невеста, —
все же жить, как ни есть, кое-как.

Я устала от грохота, шума, уродства,

от ненужности громких речей,

Я напрасно у встречных ищу благородства
и правдивость во взгляде очей.

Не могу больше ждать ежечасные вести
о предательстве тысяч людей;
о безбожных поступках без веры, без чести,
об увозе насильном детей.

Я устала считать в ступенях чет и нечет
от подвалов сырых до мансард.

Понимая, что мира ничто не излечит,

Я стремлюсь, на тот свет в авангард.

Отдохнуть . . . Отойти ото всех в бесконечность,
отряхнуть одиночества жуть . . .

И со всеми родными, ушедшими в Вечность,
продолжать свой положенный путь.

Австрия, Виллах 1948.

В ЩЕЛОЧКУ

Я приоткрыла дверь в свои воспоминанья.

В уютной комнате японское панно, —
с узором электрик и без названья,
искусною рукою вышито оно.

В углу большое зеркало-трюмо,
рабочий столик, пяльцы, вышивание;
диван, с тесненным бархатом-бордо,
разбросаны подушки на диване.

Ковер персидский; Бой — ирландский сетер,
на кресле Эльфик, белецкий мой пес ...

О, как хорош был даже хмурый ветер!
Какой же ураган всё это смел и снес?

Франция, Канн 1962.

ЗДЕСЬ И ТАМ

Передо мной провал необозримо-черный,
и ramпы резкий свет меняет мне лицо.
А я? — Я здесь и «там» и чей-то взгляд упорный
на сцену проскользнув, сомкнул за мной кольцо.
Мне не уйти. Я тут, поглощена искусством.
Я не собой живу, — меня совсем здесь нет;
но всё же я живу, с каким-то новым чувством,
и в нем я растворяюсь много раз и лет.
Я говорю слова мне чуждого созданья,
отбросив свое «я», ненужное теперь,
себя переключив в каком-то подсознании,
в чужое небытие приотворяя дверь.
И в этом небытии, послушными шагами,
с волнением иду намеченным путем,
подчас и с трепетом. Жонглируя словами,
с эпохою сроднясь и не моим лицом.
И вот — конец. Финал. Сдвигается завеса
разрезав мнимый круг. И словно после сна,
еще бродя во тьме неведомого леса
необъяснимых чувств, — душа утомлена.

Но настает скачок из нереальной сферы
туда, где «я» живу, и где «мое» лицо,
где жизнь и смерть не миф и вечность не химера,
и на руке блестит заветное кольцо.

САМОВАР

Ты всё ворчал, мой милый самовар,
что мы с тобой совсем одни остались;
а где же ты теперь? — Давно и мы расстались,
и может быть, ты стал «простой товар»?

Тебя купившие наверно не оценят
и не поймут твоё ворчанье о былом.
А, может быть, и ты пойдёшь «на слом»? —
Капризная судьба квартиру переменит?

Тебя во сне сегодня я видала: —
на белой скатерти фарфоровый прибор,
и вел с тобою чайник тихий спор...
на выпуклом боку твоём слеза сползала.

Проснувшись, ту слезу я на щеке поймала,
и, растерев её горячею рукой,
я тут же вспомнила, что стала жизнь иной...
А, в сущности, — нам надо ведь так мало!..

Франция, Канн 1962.

СТАНЬ СУДЬБА

Крылышком затрепетала
на прощанье кисть руки.
Жизнь былая отлетела,
и в глазах круги... круги.
Двинулись дома, окошки,
Улиц вертятся углы...
Стань судьба ещё немножко!
Не затягивай узлы.

КОГДА УЕЗЖАЮТ ДРУЗЬЯ

Когда уезжают друзья,
во мне сердце ёкает больно.
Я знаю — мне ехать нельзя,
но тянет куда-то невольно.

Когда мне слова говорят
о будущей, может быть, встрече, —
я знаю: — всё это «обряд»,
не только что старый, но вечный.

Но вот, настает и момент
и жданный, и должный, и важный.
Всегдашний дивертисмент: —
глаза молчаливы и влажны.

Мотора глушительный шум,
и машет рукой как обычно,
стоишь без надежды, без дум,
с улыбкой сугубо-привычной.

Потом машинально идешь
в свой дом, на родной не похожий,
и знаешь, что ты здесь живешь,
как чуждый, ненужный прохожий.

Зальцбург, 1950.

БУДЕТ ДЕНЬ

Будет день убиенно умученных
нареченных — Святými;
и молитв наизусть не заученных, —
со словами простыми.

Фолианты псалмов не записанных,
но воспринятых Богом:
миллионы веков перелистанных
перед Божьим Престолом.

Будет день сонма душ не замеченных, —
красоты несказанной,
Тихим Светом от скорби излеченных, —
и воскликнут: — ОСАННА!

Франция, 1964.



ЕЛЕНА КОСТРУБА-ЕГОРОВА

У меня имеется несколько сотен стихотворений. Предполагала написать короткий набросок, а вылилось в полную правдивую эпопею. Совершенно неожиданно в стихах оказалась покрыта вся «долюшка» русской женщины нашего поколения, вся моя жизнь: воспитание и образование в Москве, педагогическая деятельность, медицинский факультет, врачебная работа на фронте царской армии (Галиция и Румыния), тяжелое ранение, ужасы в тылу — в красной Москве, работа в Белой армии (Ростов, Екатеринодар, Крым), заболевание сыпным тифом в момент эвакуации Ростова, плен у красных, выезд из Москвы в 1923 г., врачебная работа в Югославии.

ПРЕДИСЛОВИЕ

И не так давно ведь это было,
Не прошло еще и полстолетья,
Но всю роскошь жизни заслонило
Злое роковое лихолетье.

Не прошла еще и половина века
С той поры когда цвела свобода,
Но машина покорила человека
И раздавлена душа народа.

То была эпоха идеалов
И святыни брака и отчизны,

Но любовь сорвали с пьедестала
И всё чистое ушло из жизни.
И теперь звучит поэма сказкой:
Так идеи и поступки странны
И смешна теперь ее завязка
И конец немодный и неожиданный.
Но я верю — есть еще на свете
Души, не угасшие в гореньи,
Не забыты ими «сказки» эти
И не тронуты сердца их тленьем.
Им хочу я дать мою поэму,
Лебединой песни ликованье.
Для кого свята и жгуча эта тема
Им я посвящу свое признание.

1951.

ПУТЬ РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ

I

Москва

Я работала бодро в России,
Где стремлением было служить,
Улучшать чтоб родную стихию,
Для народа, для родины жить.

II

Из Москвы в Югославию

Но на месте России прекрасной
Сплел кровавую сеть Сатана.
И чужою для нас и опасной
Стала чудная наша страна.
Я ушла из Руси оскверненной
Взяв и сына с собой своего,
Чтоб в державе еще не плененной
Взрастить для России его.

III

Из Европы в Америку

Я теперь доживаю в изгнаныи
Век, положенный мне от судьбы,
И делюсь, с кем могу, моим знаньем
Непрерывной священной борьбы.

Много ужасов, боли, страданья
Суждено на чужбине принять,
А отсутствие здесь пониманья
На борьбу кладет смерти печать.

Но не жгу то, чему поклонялась,
И не кланяюсь вновь ничему.
Для меня Русь святою осталась,
Русский стяг не отдам никому.

1955.

ДУМЫ О РОДИНЕ

Москва, Москва, ужель тебя забуду
Среди чужих холодных городов?
Ужель тебе неблагодарной буду,
Не оценю бесчисленных даров?!

Вспоенная твоей святой культурой,
Взросшая среди твоих садов,
Одна теперь средь пошлости, мишуры
«Свободой» кичащихся рабов...

Всесильный Бог, о просвети, очисти
Несчастных заблудившихся людей!
Простри, Владычица, Покров пречистый
Над скорбной родиной моей!

Март 1955.

В ИЗГНАНИИ

Когда я думаю о родине поверженной моей,
Когда кругом я наблюдаю пошлость, злобу,
Тогда мне хочется призвать опомниться людей,
Не увлекать свою страну к бесславья гробу.

Поверженная встанет вновь Россия, как была,
И мощью и любовью засияет;
Страна ж, что палачей для родины моей дала,
Стыда не изживёт, покоя не узнает!

Март 1955.

В КАЛИФОРНИИ

Вот и здесь с насмешкою во взоре
Говорят мне люди: «Ах, оставь,
Не мечтай о грезах и о вздоре
И над идеалом крест поставь!»

Как бессмысленно, невыгодно, излишне
Всё, чем ты здесь на земле живешь,
Ведь на нас не кинет взор Всевышний,
Из идеи шубы не сошьешь!»

Но в душе моей поют Жар-птицы —
Светлые бессмертные мечты,
И проходят мучеников лица,
На Руси сияющих из тьмы.

В небесах душой я ощущаю Бога,
На земле люблю творения ЕГО;
Царство Божие внутри меня так строго,
Мне не страшно в мире Ничего!

Сентябрь 1954.



НАТАЛЬЯ ДУДОРОВА

ЗВЕЗДНЫЙ МИР

Высоко надо мной в узорной рамке гор
Раскинулся, сияя, купол звездный,
И тонет в нем, во мгле теряясь, взор,
Прикованный сверкающе бездной.

Там, в черной глубине, пылают без числа
В иных мирах несметных солнц громады,
И наша мысль вокруг них еще нашла
Планет, незримых глазу, мириады.

И крошечной земли переступив предел,
Песчинка, пыль, измерить я посмела
И расстоянье звезд, и притяженья тел,
Грядущего законы и уделы.

Как будто гость я здесь неведомых вершин,
Несу свой дух в веках и поколениях,
Творец его путей, творец и властелин
Своей судьбы в подъемах и паденьях.

Но рядом мой двойник — наивный, как дикарь
С раскрытым вечным изумленьем взора.
По-прежнему дивясь, он смотрит, как и встарь,
На путь планет и звездные узоры.

И в сочетаньях их он видит письма,мена,
В сплетеньях их — чудовищные лики,
Изгиб грозящий рог небесного овна
И вьющиеся кудри Вероники.

Безгранный мир чудес раскинут перед ним,
Кровавый Марс грозит ему бедою,

И в жизни Рок его ничем не отвратим,
В борьбе он раб — под мстительной пятою.

И шепчет, глядя в край безвестный над собой,
Он в трепете пред таинством вселенной:
«Всё, что ты делаешь — начертано судьбой,
Всё, что случается — благословенно».

ИЗ ЦИКЛА «КАЛИФОРНИЯ»

Кармел

Пустынный пляж, и здесь — конец дороги.
Шумящий хоровод белеющих гребней.
Сама с собой я подвожу итоги
Изжитых чувств и пройденных путей.

Лизнул прибой песчаные откосы.
Еще чего-то против воли жаль.
Вдыхая дым душистой папиросы,
Стараюсь обмануть свою печаль.

Туман, гася в вечернем небе алость,
От моря начал медленно ползти.
Приди, благословенная усталость,
Награда путника в конце пути.

Приди и научи меня забыть о многом,
Закрыть в душе зияющий провал,
Сидеть и ждать на берегу отлогом,
Когда, шумя, придет девятый вал.

Клир Лэк

В этой сказочной долине
Было небо нежно-ало,
Были горы нежно-сини
И в воде — отлив опала.

Был в тумане берег дальний
И над ним, как щит червонный
В чаше пламенно-хрустальной
Поднимался месяц сонный.

Словно призрачные двери
Раскрывались перед нами
В край иной, страну поверий
С изумрудными стенами.

Мир оставлен был далеко,
Он сгорал в огне закатном,
Уводящая дорога
Нам казалась невозвратной.

И всё это было рамой,
Пестрой рамой к светлой сказке —
Нарастающею гаммой
Затопившей душу — Ласке.

Как странно просто уходят люди из жизни нашей —
Шаг куда-то в пространство — и их больше нет.
Только жизнь вдруг покажется опорожненной чашей,
Да в усталой душе останется горький след.

Дни проходят за днями, и как песок сыпучий
Занесет отпечатки случайных шагов.
Горе, что прежде казалось душевной. тяжелой тучей,
Стелется в сердце, как легкий дымный покров.

Печаль становится грустной, задумчиво-нежной,
Тает тихо куда-то совсем отлетев,
Изредка лишь напомнит о грусти прежней
Знакомый запах цветка, иль слышанный где-то напев.

Жизнь начинаешь чувствовать снова ярче и краше,
По-новому хмелен кажется солнца свет...
Не грустите о тех, кто уходит с дороги вашей:
Они — на песке заносимый ветром след.

От лампы свет на стол пятном положен,
За окнами — густеющая мгла.
Из груды бисера проворная игла
Выводит по канве рисунок сложный.

В то время как, покорствуя движенью
Моей руки, узор сплетается из звезд,
Я перекинула в душе воздушный мост
В туманный край прошедшего мгновенья.

Тебе, конечно, кажется ненужным,
Бессмысленным быть может даже, труд —
Воспоминания исчезнувших минут
Низать на нитку бисером жемчужным.

Но что-либо утратить тяжело мне.
Дробится в памяти ушедший в вечный путь.
Меня страшит, что я забыла что-нибудь,
Что, может быть, чего-нибудь не помню.

О, если б только было мне возможно,
Как вышивается прозрачная канва,
Вплести в узор из звезд все взгляды, все слова
И каждый миг любви твоей тревожной.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЁЛКА

Сан Франциско

Ёлка в ярких лампонах
Вся горит, огнем играя,
Словно душ неискушенных
Представление о рае.

На ветвях, покорны чуду,
Будто гроздья у рябины,
Виснут, искрясь, изумруды,
Бриллианты и рубины.

Разогрета до предела
Ароматом дышит смолка...
Но свеча перегорела,
И внезапно гаснет елка.

Все горевшие огнями
Меркнут в ночи темно-синей
Блестки, купленные нами
В пятисентном магазине.

И под елкой-невидимкой
О мечте, мелькнувшей мимо
Расплывающейся дымкой,
Плачу я неудержимо,

Как девчонка над Петрушкой,
От неведомой причины
Оказавшимся — игрушкой
С быстро лопнувшей пружиной.

*
*
*

Если у маленьких мальчиков глазки
Становятся жалки и тускло-усталы,
Я им начинаю рассказывать сказки
О том, что было, и чего не бывало.

Я лгу уверенно и вдохновенно,
Что жизнь — не есть добывание пищи,
А исканье далекой царевны,
И что найти ее может даже нищий.

Но что жизнь — погоня за солнечным зайчиком,
Ожиданье того, что никогда не случается,
Я не говорю маленьким мальчикам:
Много будут знать — скоро состарятся.



ЕЛЕНА ПРЕСНЯКОВА

СКРОМНОСТЬ

Скромность — это ситцевый платочек,
На русской девичьей головке.
Это яблонь бело-розовый цветочек,
Иль подснежник на весенней горке.

Скромность это самоотрицанье
В пользу радостей чужих.
Тайное, заветное желанье
Скрыть свой мир для всех других.

НЕЖНОСТЬ

Нежность — это таинство души,
Бабочек трепещущие крылья.
Это ветер, что волнует камыши,
Журавлей, летящих в небе, эскадрилья.

Нежность — тихим шепотом слова,
Взор подернутый слезою.
Это только что взошедшая трава
Ранним утром, розовой зарею.

В ЭМИГРАЦИИ

Я сложила усталые руки
И задумалась, как я жила...
В сердце полное горечи, муки
Я еще каплю яда влила.

Мои юные годы сгорели,
На пожарах войны и бунта.
Без любви, без напевной свирели
Кубок пенный прошел мимо рта.

И с сухими от жажды устами,
И с глазами опущенных век,
Я бреду в беспросветной печали,
Я угарных годов человек.

ЛЕСТЬ

Лесть рядится в различные одежды;
В нежность шелка, в бархат слов.
Про себя же думает: «Невежды,
Каждый Лесть обнять готов».

Она искусно, очень тонко,
Узор обмана нам плетет.
Мужчину, женщину, ребенка
На ленте за собой ведет.

ДОБРО

Добро — колодец с чистою водою
Из недр земли забивший чудом ключ,
Омоет всё серебряной струей,
Неистошим, и светел и могуч.

Добро — та нота высших сфер звучанья
В земных аккордах бытия.
Всех чувств глубокое слиянье
В высоко-человечское — Я.

ЗЛО

С тех пор, как в ящике Пандоры
Яд зла зеленый не лежит,
Он травит души, вносит ссоры
И все вокруг себя разит.

А зло с раскосыми глазами
Куда глядит — не разберешь.
Оно гнездится между нами,
Пронзит тогда, когда не ждешь.



АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬКОВСКАЯ

ОБЛАКА

Дремлют розовые горы
В золотистой полумгле,
На закате. И не знают, —
Человеческого горя
Слишком много на земле.

Кто усталый, кто страдая,
Проходя свою дорогу,
Не подымет кверху глаз;
Тот не видит, не узнает
Облаков молитву Богу.
На закате. В тихий час.

**
*

Не грустить. Ни о чем.
Синева. Голубое, безбрежное.
Солнце в море трепещет, сияет
Голубым серебром.

И скользит, в серебре отплывая,
Тихий парус, крыло белоснежное.
Наклоняется чуть ...
Синева. Голубое, безбрежное.
Не спешить ... Отдохнуть ...

Точно раненной кто-то души
Прикоснулся рукою вдруг нежною.
Или белым крылом.
Не грустить. Ни о чем ...

Далмация, октябрь 1933.

ПРАГА

Навек стариною отравленный город,
Высокая, узкая в улицах Прага.
К стенам многолетним из серого камня,
Прильнула, в щербинки, туманная влага.

Так гулки над сводами ям-подземелий,
По каменным плитам прохожих шаги.
А в нишах тяжелых: Мадонна ... Распятые ...
И старый, забытый, святой без ноги.

За дымной завесой, кровавое солнце
Так хочет пробиться и стать золотым ...
Не сможет. Не может. Не станет иным.
Так сыро и холодно. Камень и дым.

Горни-черношницы, 1924.

Чехословакия.



ТАТЬЯНА ФЕСЕНКО

Пряно пахнет цветами из сада.
В небе странные бродят лучи,
И не верится, что канонада
Вместо летнего грома звучит.

То ли зарево, то ли зарницы ...
Враг родные берет города.
Над просторами древней столицы
За звездой несется звезда.

Август щедро своим звездопадом
Нас осыпал в тот горестный год,
И связал, и поставил нас рядом,
Обреченных уже на исход.

И теперь вот, на жизненном склоне,
Дорогой, неизменный мой друг,
Мы часами сидим на балконе
В этом месяце звездных разлук.

И смещаются годы и лица,
Время стрелки отводит назад...
Мне сегодня, наверно, приснится
Тот засыпанный звездами сад.

**
*

Я заветной земли символический ком
Не взяла, от тоски замирая.
В свое сердце я город родной целиком
Уложила, от края до края.

Чтобы парк у обрыва был свеж и тенист,
Чтобы храм над рекой подымался,
Чтобы даже весенний каштановый лист
В моем сердце неловком не смялся.

П. М.

Незабытый мой, недолюбленный,
Четверть века назад загубленный,
Я пишу тебе в сумрачный час.
Адрес: Молодость, Древний Город,
Тот, что был нам обоим дорог,
Тот, что видел счастливыми нас.

Ты, лежащий под снежной заметью,
Может, помнишь земною памятью
Словно вспененный киевский снег,
Блеск накатанной узкой дороги,
Молодые холодные щеки,
Старых санок стремительный бег?...

В зимы долгие, после ареста,
Занимали те санки лишь место,

Без тебя никому не нужны.
А потом их грузили мешками
И тянули с натугой, рывками,
По голодным дорогам войны.

Где-то в общей могиле истлело
Молодое и сильное тело —
Сокращен заключения срок.
Санки брошены в брошенном доме,
Ничего не осталось, кроме
Адресованных мертвому строк . . .



3. ОРСИЧ

БЫВАЕТ

Бывает, что из туч
Осенних и бездонных,
Блеснет алмазный луч,
И озарит холодных
На миг своим теплом.

Бывает, что весной
Не исчерпав все силы,
Сирень цветет порой,
Когда кругом могилы

Осыпаны желтеющим листом.

Бывает слышен стон
Метели и ненастья,
А снится сладкий сон
О юности и счастье,
О ласках шепчет кровь.

Бывает, что уста,
Увядавшие в печали
Под тяжестью креста,
Опять затрепетали.

То поздняя пришла любовь.

ОСЕНЬ В КАРПАТАХ

Астрой ярко-желтой за зубцы Карпат,
Солнце шар садится и бросает взгляд,
На толпу березок, темных елок ряд,
Робко проникает в их цветной наряд.

Шелком-паутиной затканы поля,

Будто от морозов сонная земля

Черный бархат тела прячет и дрожит.

Бисер брызг холодных на траве лежит.

Гор узор капризный потянулся вдаль,

Лентой легкой, светлой, гладкой как эмаль.

Склоны гор покрылись золотым руном.

Небо разостлалось голубым сукном.

Тихо догорает этот яркий день,

Но в душе рождает он печаль и тень.

Угол черных крыльев в воздухе шумит,

Ворон в лес к подруге, медленно летит.

Бронзовые листья, в стынувший ручей,

Нехотя бросает, дуб с своих ветвей.

За горами зорко тучи стерегут

Осени улыбки, и они сотрут

Блики золотые и небес лазурь,

И укроют горы ватой снежных бурь.



ЕВГЕНИЯ МАРКОВА

У КАМИНА

Ты у камина замечтался,

мой грустный друг,

ты не расслышал, как раздался

мой слабый стук.

И я вошла в твой мир случайно,
где от огня
и на тебя ложилась тайна,
и на меня.

Но для участия, для привета
в вечерний час
ты оторвать не мог от света
усталых глаз,

И по душе твоей бесследно
прошла и я,
как расплывавшаяся бледно
дымков струя.

За мной и к дружбе, и к надежде
закрылась дверь,
и все, что было ярким прежде,
темно теперь.

ОЖИДАНИЕ

Грустно блекнут цветы букета
у моей немой постели...
Жду тебя как чуда, как света
в каждый ясный день недели.

От субботы и до субботы,
от восхода — до захода
я больничной живу заботой,
твоего я жду прихода.

Снова жизнь полна суеверий.
Каждый сон вновь что-то значит.
И, смотря на слепые двери,
втихомолку сердце плачет.

Но когда ты долгожданный
вдруг войдешь в мой тусклый полдень,

озаряется осиянный,
благословенный мир Господень:

вместо сумрака — полог звездный,
вместо склепа — даль зарева...

Приходи же, еще не поздно!

Приходи, еще жива я!



ОЛЬГА ДАРТАУ

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Как много ближних ждущих подавня,
Хоть крох любви, участия, состраданья,
Улыбки, взгляда, ласкового слова,
Жилось чтоб легче без родного крова.

Для многих путь тернист, далёк, печален,
И многих, многих лик многострадален,
Они уйдут и канут без возврата,
В ком болью отзовется их утрата?

К ним подойти б со словом утешенья,
Улыбкою развеять тень сомненья,
И братски поддержать в часы сомненья,
Не в этом ли любви живой значенье?

Да, много ближних ждущих пониманья
Их скорбных дум и скрытого страданья.

ДОРОГА ЖИЗНИ

Дорога жизни... Звездный путь,
Бескрайность неба голубого,
Вокруг туманы, мрак и муть,
Да грань заката золотого...

Две тени встретились, скользят,
По круче жизненного склона,
Одним желанием горят:
Познать глубь высшего закона...
Хотят надежды воскресить,
Любви принять огонь крещения,
Грез чашу полную испить,
Познать всю сладость всепрощенья.
Но миг неверный стережет
Страж жизни — РОК — Слуга отмщенья,
Он тихо песню им поет:
«Я мщу за силу дерзновенья!»



ЭЛЛА БОБРОВА

Ирине Одоевцевой

Я РАДА

Я рада.

Рада, что от счастья звездной пылью
Вы не рассыпались когда-то над землей.
Что разбудить смогли,
полвека спавший былью,
наш город гениев над синею Невою.

Разбужен Летний Сад (как часто нам он снится!),
здесь смех Ваш молодой вдруг тишину спугнул:
с поклоном царственным бездомную луну
раз подарил поэт Вам, другу-ученице.

И смех, и исповедь — всё слышала луна,
векам их передать

Вам помогла она.

В голодном городе — мажор «Живого слова»:
перековать здесь ямб
пытаются в хорей.

И снятся детям сны о жизни лучшей, новой,
хоть трупами давно весь путь усеян к ней.

Жить более ста лет

в то время Вы желали
(авось изобретут чудесный эликсир!).

Так много обещал беспечно-щедрый мир,
ему Вы верили и терпеливо ждали.

Теперь Вам кажется, что всё пошло ко дну...

Нет, помните:

поэт Вам подарил

луну!

Январь 1969.

Я ПОМНЮ

Бурьян покрыл немало троп в седом
густом лесу моих воспоминаний.

Но в зарослях несбывшихся желаний
всегда найду одну —

назад в мой дом.

Вот кленов ряд. Меня через ограду
высматривает сад десятки лет.

Как вырос он! А посредине сада
к беседке виноград, как прежде, льнет.

Я не забуду сад мой в дни цветенья:

Май-озорник готовил карнавал.

С каким мальчишеским он увлеченьем
деревьям пух охапками бросал!

Он пел, он звал на карнавальный танец:

в цвету у яблоч зажигал румянец;

соткав для вишен свадебный наряд,

всех

вовлекал в блистательный парад.

Бегу я поутру к колодцу с песней.
Вспорхнет испуганная тишина,
день будничный сияет, как воскресный,
и вечно

мне сулит цвести
весна.

А ныне — ни весны, ни карнавалов.
Не знаю: то ли сад наш постарел,
Май-ветренник куда-то улетел
иль постарела я, другою стала? ..

А вот наш дом. От солнца вся стена
стыдливо прячется в кустах сирени.
Далеких лет вдруг оживают тени
и радости несет меня волна.



ГАЛИНА СОБОЛЕВА

У ВСЕНОЩНОЙ

Мерцают свечи . . . Хор звучит всё глуше.
Струится в окна ночи синева . . .
Стою и с новою надеждой слушаю
Бессмертные и кроткие слова.

И забываются земные огорчения,
И ТИХИЙ Свет нисходит в души нам.
В пустыне жизни теплится горением
Оазис редкий — светлый русский храм.

В его стенах мы о России молимся
И верим: будет, будет час и год!

Пусть видеть это мы не удостоимся,
Но Русь Святой увидит наш народ!
Австралия, 1956.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Зачем мне камни самоцветные,
Когда рассыпаны пред мной
Сокровища земли несметные.
Пусть видимые мне одной!

После дождя былинка малая
Сияет тысячью огней,
И вновь поет душа усталая,
О том, что вдруг открылось ей.

А где-то там, чуть слышной нотой
Скрипач-кузнечик тон дает...
Что жизнь с тревогой и заботой,
Когда со мной весь мир поет?!

И хвалит всякое дыхание
Вселенной мудрого Творца,
Когда, вот, в это утро раннее
Открыты счастию сердца.

Австралия, 1956.



ЕВГЕНИЯ ДИМЕР

В НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ГАВАНИ

Заполнен порт судами разных стран, —
Направо пассажирские, торговые налево,
А прямо океанский мощный великан
Глощает ненасытно пищу в чрево.

Подъемный кран спускает в трюм тюки,
И поднимаются на палубу по трапу люди,
А сказочный гигант напор ветров морских
Отталкивает лебединой грудью.

Погрузка кончена, и сразу в путь
Навстречу штормам, прихотям капризных
океанов,
И мне, в толпе на пристани, пришлось вздохнуть
От зависти к морскому великану.

Свой курс он держит прямо на восток,
Возможно к берегам моей родной земли
причалит...

«Привет ей от меня, любимой!» — и платок
Я комкаю в безвыходной печали.



МАРГАРИТА МЕЙЕНДОРФ

СЕРДЦЕ

Сердце, брось свои замашки
И не пой с утра.
Я не дам тебе поблажки,
Стисну зубы, как вчера.

От работы ты устало.
Шум машин тебя гнетет.
Жизнь нельзя начать сначала.
Всё проходит, всё течет.

Стыдно, сердце, ты забыло,
Ты когда-то бодрым было.
Вспомни, сердце, хоть чуть-чуть —
Любишь ты кого-нибудь?

Ну, так брось свои замашки!
Если любишь — жди чудес.
Вдруг, как в сказке, замарашки
Превратимся мы в принцесс!



НИНА ОШУРКОВА

ПАЛИТРА ЖИЗНИ

Бог дал нам жизнь! Художнику палитру.
И в руки кисть — нам волю Он вручил,
Мольберт устойчивый. — Дал веру и молитву,
И нас Творец на землю отпустил.

«Пусть каждый жизнь себе свою рисует.
Узором выведет на полотне души.
Пусть помнит, суд великий не минует,
Достигнуть должен чистой красоты.

Вот краски светлые: любовь, терпенье, жалость,
Прощенье, честность, искренность, добро.
Тут потемней; с лукавством ложь смешалась,
Нахальство, подлость, ненависть и зло».

Дано всем выбрать фон свой и тональность —
Сюжет картины жизни на земле.
Обрисовать детализацию
Дня каждого узором на душе.

Бог дал нам жизнь! О, Боже! Дай нам уменье
Искусно кисть свою употреблять.
Чтоб мы могли в Святое Воскресенье
Рисунок свой на строгий суд отдать.

ТРИ АКТА

Играю я комическую роль.
На живой сцене, в пьесе «Жизнь Моя».
А за кулисами глухая в сердце боль:
Волненье, страх и слезы и тоска.

Прошел акт первый, начался второй.
К концу и он так скоро подойдет.
Смеюсь я с публикой, веселый смех-пустой,
А за кулисами унынье меня ждет.

Как страшно стало акт второй вести.
Невыносимо третий начинать.
Но долг артиста пьесу провести,
Когда на сцене взялся он играть.

Играю я комическую роль:
Без принужденья, весело, шутя,
А за кулисами глухая в сердце боль,
И на душе безгранная тоска.



В. Т.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

Влюбленность, как порох: стремительным жаром
Опалит, блеснет и уйдет без следа.
Прояснится ум одуренный угаром,
А горечь осядет в сердцах навсегда...

Любовь — это солнце: ласкающим светом
Две жизни навеки связует она.
Любовь не проходит. Без клятв и обетов
Она нерушима, свободна, сильна!



ОЛЬГА КРИТСКАЯ

Я не огнем горю, а жаждой мести дикой,
Она меня томит и мучает и жжет.
Одна ли я в толпе безликой —
Она везде, всегда меня найдет.
И вижу я тогда замученные лица,
Мне слышится крик, плач, мольба и стон.
И край родной встает, как страшная темница,
Где жизнь похожа на кошмарный сон.
В приливе злобы все передо мною исчезает.
Со скрежетом шепчу проклятия слова,
И в этот миг из мрака выступает
В венке терновом Голова ...
Не злоба, а печаль в глазах светится.
Не месть, не ненависть, а жалость и любовь.
И по лицу со лба струится
Невинная, Святая кровь.
Он в час последний, час
Своих страданий,
Когда в крови тонул
И гаснул взор очей —
Он и тогда еще молился,
Молился за врагов и палачей ...
И месть во мне вдруг затихает
И на душе светлей — там злобы нет ...
Он победил! Он побеждает!
И мир весь победит Его Любовь и Свет!



ТАТЬЯНА ДРИЖЕНКО

Дверь налево, дверь направо,
А прямого нет пути.
Что за странная забава?
Как же выход здесь найти?
Всё так смутно в этом доме —
Звуки, краски, голоса.
Наяву иль в сладкой дреме
Зазвучали небеса.
Загудели, зазвенели
Гулко, четко, нити струн,
Закачались сосны, ели,
На пустой виолончели
Ворожит звонарь-колдун.
За окном, над серой тучей
Зыбко радуга парит.
Все забыла — снег летучий,
У крыльца возок скрипучий,
Там, где призрак дом стоит...
1968.



ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА

Мы крошки с Божьего стола,
Осколки первой тайны —
Все наши жизни и дела
Так странны и случайны:
Но как, беспомощно любя,
К Тебе вернуться снова?
Как вылупиться из себя,
Из зеркальца кривого?

Забыть, что в нем отражено,
Разбить земные меры,
И снова стать с Тобой одно
В огне плавильном веры?

Да, безнадежность — тоже утешенье:
Покой и легкость, нечего терять.
И только сердца теплое биенье
и под рукой послушная тетрадь.

А целый мир могуче и покорно
Цветет в моем распаханном окне,
И созревает, и роняет зерна,
И прорастает песнями во мне.

Расточительных слов не надо.
Строгой осени день пришел:
Из цветистого листопада
Вышел лес так прозрачно гол.

Видны скал обомшелых глыбы
И стволы в исполинский рост,
Каждой ветки сухой изгибы
И комочки остывших гнезд.

Ветром пасмурным лес очистив.
Осень лето сожгла в кострах,
И остался от слов и листьев
Горьковатый и легкий прах.

Облетели кверху донцем
Все сосульки, как одна,
И в глаза холодным солнцем
Дует ранняя весна.

И сугробы разом сели,
Как упавшие хлеба,
И под мокрый звон капли
Зацвела в снегу верба.

Не впервой цвести на стуже...
Не впервой скитаться там,
словно ходишь не по луже —
По летящим облакам, —

И тебе в раскрытом мире
Внятен каждый блеск и вздох —
Словно глаз дано четыре
И ушей не меньше трех.



ОЛЬГА БИРИНЦЕВА

ИГРАЕТ СВЯТОСЛАВ РИХТЕР

Он сел и клавишей рукой слегка коснулся.
Тогда обрушился рукоплесканий вал.
Звучи рояль, рукам волшебным повинуйся!
Слетела тишина и замер шумный зал.

Аккорд, и он, без слов, — над чувствами властитель,
И расцвела вся мощь душевной красоты.
Творцов бессмертных он — чудесный исполнитель,
Введет в торжественность надмирной высоты.

Единым помыслом, единым вдохновеньем
Многоголовое чудовище — толпа,
Вся освятится вдруг возвышенным мгновеньем
И с звуками его сольется, как всегда.

ПЕСНЯ МОРЮ

Как только я прощаюсь с морем —
Увидеть вновь его стремлюсь!
К нему приду — ему и зорям
Благоговейно поклонюсь.

Ты необъятно, несравненно,
Тебе сиянье вечность шлет.
Ты, как молитва, вдохновенно,
С тобой душа бессмертья ждет.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Как хорошо побыть с поэтом,
Поплакать о своих грехах...
А с каждым ведь нельзя об этом!
Магнит волшебный скрыт в стихах.

Сияньем сердце расцветает
В нем тихо, тихо тает лед,
Как будто сердце тайну знает
И под сурдинку запоет.



НОННА БЕЛАВИНА

Пусть говорят, что мир — пустыня,
Что в жизни страшно и темно —
Пью из небесной чаши синей
Зари пурпурное вино.

И, пробежав по мокрым травам,
Бросаю всюду жадный взгляд,
Ловлю под деревом кудрявым
Грозы недавней аромат.

И капель ласковую тяжесть,
Держа в ладонях теплых рук,
Слежу, как быстро сети вяжет
Мой самый страшный враг — паук.

А дальше, там в цветочной чаще,
Где лютик тянется к лучу,
Я желтой бабочке летящей
Какой-то нежный вздор шепчу.

И растворяясь в этой жизни,
И тихой радостью дыша,
На все вокруг улыбкой брызнет
Моя поющая душа!

Кончиком пальцев росинки блестящей коснуться
К теплomu дереву нежно прижаться плечом,
В комнате утром от света неожиданно проснуться,
Сразу объятия солнцу открыв горячо.

Вот она — жизнь. И ничьих поцелуев не надо,
Только бы слушать веселые всплески воды,
Только бы в августе ночью из темного сада
Взглядом скользнуть по дороге упавшей звезды

Только бы рифмы в душе никогда не иссякли,
Не порвалась мелодии тонкая нить,
Только бы жизнь до последней малюсенькой капли
Словно шампанское жадно и бережно пить!..



ОТ РЕДАКЦИИ

За несколько последних лет, прошедших в эмиграции, там же возникла новая земная жизнь. Местным Литературно-художественный кружок "История Близкая и далекая" другой: поэтов, артистов, общественных деятелей.

Но поддержало сердце артистки и писательницы Евгении Сергеевны Петровой. Она была охотница склонить голову на плечо, талантливой, трудолюбивой, Елена Петровна Грот. Она была организатором до двухсот литературно-художественных вечеров и большого количества спектаклей в 20-х, 30-х и 40-х годах нашей жизни в Сан-Франциско. В том же 1948 году после долгой тяжелой болезни покинула нас Анна Владимировна Гусманю. Она создала и поддерживала свое "Детство" — детский монастырь в Калейстоге.

Большинство из упомянутых обладало рождением талантом: даром общественного служения. Их работа была тесно связана с детскими садами, приютами, школами в различных странах. Среди них особенно выделялись: педагог профессор М. А. Волторанян, М. К. Крылова-Красавич, О. Н. Мечникова. Сложную научную работу по исследованию расизма проводил Е. А. Шамис.

Трагической была смерть в застенках Гитлера талантливой художницы и скульптора Эрих Дем. В гитлеровском концлагере погибла мученической смертью женщина Мария со своим сыном.

Да сохранится о них всех

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ОТ РЕДАКЦИИ

За несколько последних лет, прожитых в эмиграции, многие покинули нашу земную жизнь. Местный Литературно-художественный кружок потерял близких и дорогих друзей: поэтов, артистов, выдающихся общественных деятелей.

Не выдержало сердце артистки и писательницы Евгении Сергеевны Печаткиной-Исаенко. Неожиданно склонив голову на руки, незаметно для своих близких родных скончалась поэтесса, талантливая журналистка, Елена Петровна Грот. Она была организатором до двухсот литературно-музыкальных вечеров и большого количества спектаклей в 20-х, 30-х и 40-х годах нашей жизни в Сан Франциско. В том же 1969 году после долгой тяжелой болезни покинула нас Анна Владимировна Громыко. Она создала и поддерживала свое «Детище»: женский монастырь в Калистоге.

Большинство из ушедших обладало редким талантом: даром общественного служения. Их работа была тесно связана с детскими садами, приютами, школами в различных странах. Среди них особенно выделялись: педагог профессор М. А. Полторацкая, И. К. Юрьева-Краевич, О. Н. Мечникова. Сложную научную работу по исследованию радия провела Е. А. Шамье.

Трагической была смерть в застенках Гитлера талантливой художницы и скульптора Эрны Дэм. В гитлеровском концлагере погибла мученической смертью монахиня Мария со своим сыном.

Да сохранится о них всех

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Н. Ф.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА

В 1918 году я поступила преподавательницей русской литературы и математики в частную женскую гимназию имени Генерозовой, в Харбине (Маньчжурия).

В седьмом классе на первой парте сидели две прехорошенькие девочки: Евгения и Мария Печаткины.

Это был первый революционный год. В школе, как и везде, шли бурные сходы, кричали, тогда еще неопытные, ораторы. Часто доходило до угроз, оскорблений и пощечин.

Сестры Печаткины сохраняли полное вежливое спокойствие. Они не вмешивались в революцию и, если класс седьмой был криклив и бушевал, они спокойно открывали учебники и повторяли уроки.

Эта сдержанность удивляла меня: характер, хорошая семья, воспитание? Что научило их сохранять такое, хотя бы только внешнее, спокойствие.

Весной было издано властью приказание: всех — без исключения и без экзамена — перевести в следующий класс, а из седьмого (гимназия была семиклассной) всем выдать — так же без экзамена — свидетельства об «отличных успехах и поведении в течение школьных лет». Уроки продолжались, но кое-как. Отсутствовала иногда половина класса.

Сестры Печаткины по-прежнему сидели на первой парте и читали свои учебники. Эта сдержанность, умение владеть собою были главными чертами характеров сестер Печаткиных, и я запомнила их навсегда.

В 1950 году я перевелась в Сан Франциско. Я была приглашена в Литературно-художественный кружок в Берклее. Там я встретила Евгению Печаткину, но она была уже замужем, носила другую фамилию. И я была замужем, имела фамилию мужа. Годы сильно изменили и Евгению Сер-

геевну и меня. Около трех лет, встречаясь иногда в Литературно-художественном кружке, мы не узнавали одна другую — и только случайно упомянутая фамилия Печаткиной дала нам возможность восстановить знакомство.

В то время меня приятно удивлял характер и манеры Евгении Сергеевны. Она была всегда нарядна, кокетлива, выглядела беззаботной, всегда была весела, смешлива и, вместе с тем, под этой внешностью таился труженник, настойчивый работник. Здесь была большая сила воли и та же сдержанность, которая удивляла меня еще в юности.

Как-то раз она отвозила меня из Берклея в Сан Франциско.

— Какое у вас прекрасное здоровье! — сказала я.

Она удивленно взглянула на меня, в повороте головы едва не выпустив руль.

— У меня очнь плохое здоровье, — ответила она, — только я никогда никому не рассказываю о своих болезнях.

— Значит у вас нет больших огорчений, здоровые нервы, — и отсюда ваша выносливость и веселость.

— У меня нет огорчений! — воскликнула она. — Сколько назвать вам?

— Два-три.

Она назвала. А верить было трудно. Она просто сияла радостью жизни. Что ее держало в этой радости? Искусство.

Она росла, всё выше подымаясь в искусстве, а ведь была уже не молодой. Из веселой, но поверхностной, комедийной артистки она сделалась серьезным психологом, например в комедиях Островского. Ее декламации делались всё серьезнее, всё больше развивалось ее чутье к прекрасному, понимание лучших образцов поэзии и прозы. Ее, так сказать, коронной ролью была сцена из «Войны и мира» Л. Толстого: Наташа у постели раненого, умирающего князя Андрея. Эти страницы она знала наизусть.

В последние годы она изредка возвращалась к прежнему легкому комедийному жанру, чтобы позабавить нас.

Еще больший рост проявила она в том, что писала. Игривые, легкие рассказы были забыты. Так как она в те последние годы делилась со мной всем, что замышляла и писала,

я могу перечислить три труда большого объема, над которыми она работала: 1) «Семейная хроника» (одной знакомой семьи); 2) жизнь одного человека в трех периодах: безбожник, гуляка, монах, уход из монастыря — жить «на людях» — и его последнее отчаяние; 3) психологическая драма несчастной матери и ее покинутой дочери.

Евгения Сергеевна почти не знала религиозной литературы. Я указала ей на этот тысячелетний огромный мир русской духовной жизни, — ей не известный, посоветовала читать, дала книги. Проповедь Иоанна Златоуста поразила ее, но всего более поразили ее те отрывки из «Добротолюбия», которые я имела на руках. Она решила читать, а потом написать нечто об Иоанна Златоусте, и о «Добротолюбии» и сказала:

— Это мне будет занятием до конца моей жизни.

Я уехала из Сан Франциско. Она знала, что я предполагала приехать обратно на некоторое время. И она просила меня, чтоб я дала ей знать, когда приеду, обещая встретиться на аэродроме, привезти к себе в дом, и три дня провести в чтении ее трех наиболее продвинувшихся работ.

— Затем только мы объявим о вашем приезде «кружку».

Я согласилась, но — увы! — приехать мне не удалось.

В одном из писем были ее слова: «Подумать только, сколько мы упустили времени, живя так близко...»

Да, дорогая Евгения Сергеевна, мы все многое упустили в этой жизни; заботы, болезни, перемены мест, огорчения, потери близких — это многим из нас не дает достойно развить данные Богом качества. Мы как-то раз рассуждали с вами о «Притче о талантах». Простит ли Господь небрежение: талант зарытый в землю и не давший всхода? Простит? Вы уже знаете это. Я еще не знаю, но вскоре надеюсь узнать.

До свидания в ином уже мире!



ЭРНА ДЭМ

Эрна Дэм родилась в Киеве (1889), окончила гимназию с золотой медалью, затем переехала в Париж, изучала там искусство живописи и скульптуры.

Вернувшись в Россию, она в Ленинграде основала Театр марионеток, выполняя все работы по созданию кукол. В 1920 году она покинула Россию и работала по созданию ваз и других предметов из фарфора. Она принимала участие в выставках, например в Salon d'Automne. После L'Exposition Internationale она получила Diplôme d'honneur. Ее произведения принимались и приобретались музеями, как например Эрмитажем в Ленинграде.

Получив приглашение работать для Manufacture de Sevres, она посвятила много труда и времени на создание эмали, и так называемого chamoté.

Ее произведения были высоко оценены критиками искусства и художниками. Она имела постоянный успех и признание.

Оккупация Парижа немцами прекратила работы в Sévres, но Эрна Дэм имела собственную электрическую печь и продолжала работать! Эрна Дэм и ее муж, Марк Вольфсон, решили не покидать Париж.

В 1942 году они были арестованы и увезены в запломбированном вагоне в Аушвиц (Германия). С тех пор о них не было никаких известий.

Жизнь Эрны Дэм была прекрасной и, вместе с тем, высоко трагичной. Надо надеяться, что в свое время найдется историк и писатель, который отдаст должное таланту и героизму этой необыкновенной женщины.

Нам были присланы снимки работ Эрны Дэм и ее фотография. Не имея возможности поместить их в нашем сборнике, мы обращаемся к молодому поколению: Эрна Дэм — вот прекрасный сюжет для писателя-биографа и художника.

Редакция.

ЕКАТЕРИНА АНТОНОВНА ШАМЬЕ

Краткий биографический очерк

Екатерина Антоновна родилась в 1888 году в семье одесского нотариуса А. Шамье. В семье было шестеро детей.

Она окончила с золотой медалью восьмиклассную гимназию. Преподаватели ее посоветовали ей продолжать образование. Мать сопротивлялась отъезду дочери, но по настоянию бабушки ее отпустили в Женеву, так как в этом городе она могла жить в семье своей бывшей гувернантки. В 1908 году Екатерина Антоновна поступила в Женевский университет, который окончила со степенью доктора физики и химии. Возвращение ее на родину совпало с началом войны.

Пройдя курсы сестер милосердия Екатерина Антоновна начала работать в госпитале при Университетской клинике. В 1916 году в Одессе был открыт Политехнический институт. Научная сторона легла на ее отца — генерал-лейтенанта и профессора Военной академии в Петербурге. Екатерина Антоновна была приглашена ассистенткой проф. Тимченко по высшей математике.

Весной 1918 года семья Шамье переехала в Париж, где открылось широкое поле деятельности для неиссякаемой энергии Екатерины Антоновны. Она была одной из основательниц русской гимназии, где потом преподавала математику, физику и химию, вложив всю свою душу в образование и воспитание русской эмигрантской молодежи.

В Институте Екатерина Антоновна проработала 29 лет. Работа ее заключалась в измерении количества радия в приносимых ей образцах. Кроме того, вместе с Ириной Жолио Кюри она написала работу о «Родане», которая представля-

ет большой вклад в науку о радиации. Кроме этого Екатерина Антоновна написала 37 научных работ, опубликованных в научных журналах.

Она открыла новые лучи в радиации, которым присвоено ее имя.

К сожалению, постоянная работа с радиоактивными веществами начала влиять на ее здоровье: какая-то жидкость стала непрерывно выделяться из ее пальца. Она вынуждена была всегда носить повязку на руке. Кончилось это общим раком крови. Она скончалась в июле 1950 г. в Париже.

Во время оккупации Парижа немцами Екатерина Антоновна осталась одна в Институте, всеми оставленном. Члены Гестапо пришли, увидели ее за работой и оставили в покое и ее, и Институт.

Ева Кюри в своей книге «Мадам Кюри» аттестовала Екатерину Шамье как очень умную сотрудницу ее матери.

Материально работа Екатерины Антоновны оплачивалась очень скудно, но она отказывалась от многих лестных для нее предложений.

Мир праху этой удивительной женщины.



Е. ГРОТ

ГИМН ДУХУ

Митры, шлемы, венцы и короны
Пред Тобюю склонялись в мольбе...
За Тебя поднимались знамена...
Чистой мыслью служили Тебе.

Но мои неокрепшие крылья
Не отметишь избранием Ты: —
И не мне в моем горьком бессильи
Увеличить святые ряды!

Но любовью моей незаметной
Я люблю Тебя ныне, как встарь.
Я в душе своей скорбной и бедной
В честь Тебя воздвигаю Алтарь.

Я молиться Тебе не умею!..
Дум моих и в словах не сказать...
Сердце — всё, что я в мире имею,
Сердце — всё, что могу я отдать.

Опустились вечерние тени...
Молча в храм я к Тебе прихожу,
Молча я преклоняю колени —
В жертву сердце Тебе приношу.



МОНАХИНЯ МАРИЯ

Как хорошо, что есть глухая ночь,
Как хорошо, что есть глубокий сон,
Как хорошо, что есть слепая смерть,
Утих звериный вой среди пещер,
В домах покой, в больницах смолкнул стон,
И злая жизнь отходит смиренно прочь.

Даруется живому тишина, —
Ушам — не слышать, немота — устам
И сердцу — сон, и пальцам крестный знак.
Не тяжек нам, не тяжек вечный мрак.
Как радостно кончаем счет годам.
Прими нас вечность, пой нам, тишина...

**
*

Мне кажется, что мир еще в лесах,
На камень камень, известь доски, щебень.
Ты строишь дом, Ты обращаешь прах
В единый мир, где будут петь молебны.

Растут медлительные купола...
Неименуемый, нездешний. Некто,
Ты нам открыт лишь чрез Твои дела,
Открыт нам, как великий Архитектор.

На нерадивых Ты подьмешь бич,
Бросаешь их из жизни в сумрак ночи.
Возьми меня, я только Твой кирпич,
Строй из меня, непостижимый Зодчий.

**
*

Каждая мышца свинцом налита.
Крылья... Но крыльев давно уже нету.
Пасет мою душу бичем суета,
Неистово гонит кругами по свету.

Ничтожная, нищая, ну-ка, пляши,
Оденься в восторги и лги о заветах,
Сегодня покаяйся, а завтра греши
И повторяй себя в песнях пропетых.

Каким бы тебя раскаленным клеймом
Достойно, позорно на веки отметить,
Каким бы сковать твою шею ярмом,
И истрепать на спине твоей плети.

Пригнись. Иль не слышишь, — вот Некто идет,
Который не числит даров и не мерит.
Он грех умерщвляет и горе берет,
Бескрылых кидает в надзвездный полет,
Рождается снова в пастушьей пещере.

Не надо усилий. Сама Благодать
Окаменелое сердце растопит.
Я даже не смею его призывать,
Но Сам Он призывами душу торопит.

**
*

Там было молоко и мед,
И соки винные в точилах.
А здесь, — паденье и полет,
Снег на полях и пламень в жилах.

И мне блаженный жребий дан, —
В изодранном бреду наряде.
О, Русь, о, нищий Ханаан,
Земли не уступлю ни пяди.

Я лягу в прах, и об земь лбом.
Врасту в твою сухую глину.
И щебня горсть, и пыли ком
Слились со мною в плоть едину.



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
ПРОЗА	
КЛЕОПАТРА БОЛОТИНА: Александра Львовна Тол- стая	7
Татьяна Алексеевна Шауфус	9
Т. СМЕРНОВА-МАКШЕЕВА: Родная страна	11
ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА АНТОНОВА: Потрясение	12
ОЛЬГА ИЛЬИНА: Первый литературный вечер в Сан- Франциско	18
Е. МАЛОЗЕМОВА: Литературный путь Нины Федо- ровой	20
В. ШНЕЕРОВА: Русская писательница в эмиграции	24
АННА ОБОЛЕНСКАЯ-РЕННИНГ: Автобиография	27
За кого меня Бог может счесть?	29
АЛЕКСАНДРА ДЕББЕРТ-ДРОЗДОВСКАЯ: Мои 50 лет в эмиграции	30
Е. М.: Мать	38
О. К.: К 75-летию Ю. А. Кутыриной — «Сказитель- ницы»	43
АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ: Неужели повторится исто- рия?	45
С. Б-АЯ: Тыркова-Вильямс. (К столетию со дня рож- дения)	54
ОЛЬГА ДЕ КЛАПЬЕ: (Некоторые биографические све- дения)	57
День в Париже	58
ИРИНА САБУРОВА: Смотри революции	64
ГАЛИНА КУЛАЕВА: Русские везде	68
М. АБАЗА: Пашкина карьера	71
КЛЕОПАТРА БОЛОТИНА: Чудо с неба	77
И. БОЛОТИНА-КУЛИК. (Пианистка)	81
МАРИЯ ЧЕРНОСВИТОВА: Моя жизнь в музыке	82
ВЕРА НИКОЛАЕВНА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. (Пианис- тка-композитор)	89

ГЕОРГИЙ ПЕСКОВ: Секрет Анны Ивановны	90
Е. РАЧИНСКАЯ	97
Ольга и Лида	98
ОЛЬГА ПЕТРОВНА ТИССАРЕВСКАЯ	102
ИРИНА ОБОЛЯНИНОВА: Цыганская песня и Аполлон Григорьев	103
ВЕРА КОВАРСКАЯ: Альбом	106
МАРИЯ СТАРК: Серебряный пояс	112
В. К. ОГИЛЬВИ-СЛОВОДЧИКОВА: Путь на Халун Аршан	116
ВЕРА ДАНИЛОВА: Мое первое знакомство с миром	122
Е. Н. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ-ИВАНОВА: Автобиография	125
МАРГАРИТА ШАМРАЙ: Под вой пурги	127
ТАМАРА ВЕЛИЧКОВСКАЯ: О доброй змее	138
Черные птицы	143
ПОЛА ПИТЕРС: О, могучий русский язык!	153
НАДЯ БАКЛАНОВА-БОЗАК: На бойком месте	155
М. АНТОНОВА: Сердце матери	160
В. МИТЕНС: Русские солдаты во Франции в 1915 году	161
Русские солдаты во Франции в 1945 году	167
ОЛЬГА ЙОРК: Марика	171
Р. САДОВСКАЯ-ГРО: Одни сутки	176
ОЛЬГА КОЖЕВНИКОВА: Памяти М. Н. Ермоловой	179
АРИАДНА МИКЕШИНА: Автобиография	186

СТИХИ

ТАТЬЯНА СМЕРНОВА-МАКШЕЕВА:	191
Усталый шаг дорогу мерит	192
Предчувствие	192
Бессонница	193
Мелькают в воздухе снежинки	193
Прядь волос	194
1970	195
К тебе затерянный в тумане	196
ЕВГЕНИЯ БЕРЕСТОВСКАЯ:	196
Я устала	197
В щелочку	198
Здесь и там	198
Самовар	199
Стань судьба	199
Когда уезжают друзья	200
Будет день	200

ЕЛЕНА КОСТРУБА-ЕГОРОВА:	201
Предисловие	201
Путь русской женщины	202
Думы о родине	203
В изгнании	204
В Калифорнии	204
НАТАЛЬЯ ДУДОРОВА: Звездный мир	205
Из цикла «Калифорния»	206
Как странно	207
От лампы свет	208
Электрическая ёлка	208
Если у маленьких мальчиков	209
ЕЛЕНА ПРЕСНЯКОВА: Скромность	210
Нежность	210
В эмиграции	210
Лесть	211
Добро	211
Зло	211
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬКОВСКАЯ: Облака	212
Не грусти. Ни о чем.	212
Прага	213
ТАТЬЯНА ФЕСЕНКО: Пряно пахнет	213
Я заветной земли	214
П. М.	214
З. ОРСИЧ: Бывает	215
Осень в Карпатах	216
ЕВГЕНИЯ МАРКОВА: У камина	216
Ожидание	217
ОЛЬГА ДАРТАУ: Размышление	218
Дорога жизни	218
ЭЛЛА БОБРОВА: Я рада	219
Я помню	220
Бегу я поутру	221
ЕВГЕНИЯ ДИМЕР: В нью-йоркской гавани	222
После дождя	222
ЕВГЕНИЯ ДИМЕР: В нью-оркской гавани	222
МАРГАРИА МЕЙЕНДОРФ: Сердце	223
НИНА ОШУРКОВА: Палитра жизни	224
Три акта	225
ОЛЬГА КРИТСКАЯ: Я не огнем горю	226
ТАТЬЯНА ДРИЖЕНКО: Дверь налево	227
ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА: Мы крошки	227
Да, безнадежность	228
Расточительных слов	228
Облетели кверху донцем	228

ОЛЬГА БИРИНЦЕВА: Играет Святослав Рихтер	229
Песня морю	230
Благодарность	230
НОННА БЕЛАВИНА: Пусть говорят	231
Кончиком пальцев	231

УШЕДШИЕ

От редакции	235
Н. Ф.: Незабываемая встреча	236
ЭРНА ДЭМ	239
ЕКАТЕРИНА АНТОНОВНА ШАМЬЕ	240
Е. ГРОТ: Гимн Духу	242
Монахиня МАРИЯ: Как хорошо	243
Мне кажется, что мир	243
Каждая мышца свинцом налита	243
Там было молоко и мед	244

СКЛАДЫ КНИГ:

1) Mrs E. Malozemoff
Lake Road
Valley Cottage N. Y. 10989
Box 277-B U.S.A.

2) Mrs N. Presniakoff
1639 Addison Str.
Berkeley, California, U. S. A.

